

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
К59

Художественное оформление *Елизаветы Корсаковой*

**Козлов, Руслан Васильевич.**  
К59 **Stabat Mater** : роман / Руслан Козлов. — Москва :  
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной,  
2022. — 669 с. — (Большая проза).

ISBN 978-5-17-148580-1

Мир охватила новая неизлечимая болезнь. Она поражает только детей. Больных становится все больше, и хосписы, где пытаются облегчить их муки, начинают закрывать. Врачи, священник, дети и их родители запираются там, как в крепости...

Надежда победить страшный недуг приходит с неожиданной стороны, а вот вечные вопросы — зачем нужны страдания и в человеческих ли силах уменьшить их — остаются с каждым.

*«Только показав всё честно, без щадящей ретуши, имеешь право утверждать — из любой бездны всегда есть путь к свету».*

Руслан Козлов

*«Получилась мощная проза, которую автору жизненно важно было написать. Забыть эту книгу вы точно не сможете. Будете ли жить после нее по-прежнему — не знаю».*

Дмитрий Быков

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-148580-1

© Козлов Р.В.  
© ООО «Издательство АСТ»

Stabat Mater dolorosa  
juxta crucem lacrimosa  
dum pendebat filius.

---

Мать скорбящая стоит  
И рыдает у креста,  
На котором Сын распят.

*(Старинное церковное  
песнопение)*



# ПРОЛОГ



7 ЯНВАРЯ. РОЖДЕСТВО

АЛЕША

С неба ангел прилетает  
И ко мне слетает  
Воду белую несет  
Он меня спасет  
Будет пламя заливать  
Чтобы мне дышать  
Всем на свете помогает  
У него вода живая

Я учусь разговаривать с болью. Вероника рассказала, как это делать. Сначала нужно представить боль кем-нибудь. Например, птицей или животным или кем-то из сказки, только не злым и не страшным. И когда боль придет, заговорить с ней, сказать: привет, я тебя знаю, я тебя не боюсь. Главное, надо заранее придумать волшебные слова и повторять их, чтобы боль уходила.

Зосю из девятой палаты Вероника тоже учила разговаривать с болью, и Зося стала представлять боль уче-

ной собакой, черным пуделем. Зося дает команды — и боль слушается. То есть пудель. А потом Зося говорит: «Ну все, иди на место, спать». И он опять слушается. И тогда легче.

А я представил боль говорящим волшебным огнем из сказки про Изумрудный город. Но Вероника сказала, что это неправильно, потому что огонь обжигает, значит, он сам как боль, и нужно что-то другое.

Но есть ангел. Он мне приснился, и я видел, как он заливает боль волшебной водой, белой, как молоко. Он приносит ее прямо в руках и льет из ладоней, и тогда боль гаснет. А если ангел будет лить воду на птицу или на пуделя, то ничего не получится.

Бывает, боль приходит быстро, а ангел далеко. Тогда мне нужно успеть закричать, чтобы он услышал. Потому что скоро я уже не смогу дышать и кричать из-за этого не смогу. И если он не успеет, я совсем перестану дышать... Я не хочу об этом беспокоиться. Если ангел опоздает, значит, так и нужно. Но когда так бывает, мое горло само хочет вдохнуть, изо всех сил. Оно уже как будто не слушается меня. И мне становится страшно, что я весь разделюсь. Горло, голова, живот, руки — все будет не мое и будет делать то, чего я не хочу. И я даже не смогу никак объяснить, что это уже не я...

А Лёня из двадцатой палаты вчера сказал, что тоже видел этого ангела, видел на самом деле, только издали. Он живет на чердаке. Лёня знает, как туда пробраться, и нашел место, где ангел спит. Когда я смогу вставать, Лёня выведет меня на чердак и покажет.

А потом Лёня принес перо — белое, очень длинное и тонкое. Он сказал, что оно от ангела, и отдал мне. Я сначала хотел положить перо под подушку, но побоялся, что оно сломается, и положил в книжку. Оно та-

кое длинное, что даже выглядывает из книжки. Я хочу верить, что это и правда перо от ангела. Но я не думаю, что он живет на чердаке, он же не голубь какой-нибудь и не кошка.

Сегодня я показал перо отцу Глебу. Он долго разглядывал его, смотрел на свет, и я видел, что перо все просветилось, даже белый прутик, из которого растут перышки, тоже стал прозрачным. Я так не догадался сделать. Отец Глеб сказал, что ангельских перьев никогда не видел. Но если это перо от птицы, то он не знает от какой. Потом еще долго смотрел на перо и даже его понюхал.

Сегодня Рождество. Утром отец Глеб дал мне причастие, и мы говорили про Иисуса Христа и про чудеса. И тут случилось чудо. У меня на окне стоит елочка из фольги, которую Вероника принесла на Новый год. И вот сегодня солнце показалось между деревьями и осветило на нее, и было такое чудо, что от елочки вся комната засияла, потому что получились солнечные зайчики — штук, наверное, сто или больше. И зайчики были разных цветов — красного, голубого, фиолетового. А еще на елочку дул сквозняк, и она шевелилась, и все зайчики шевелились на стенах, на потолке, на мониторе, и даже на чаше с причастием. Отец Глеб тоже это видел. Он смотрел на зайчиков, будто хотел их сосчитать, и я заметил, что он что-то шепчет, совсем неслышно...

Уже два часа, а у меня не было приступа.

После обеда отец Глеб принес фигурки — маленький Иисус Христос, а с ним его мама Богородица и его отчим Иосиф. А сзади стоят и смотрят теленок, и две овечки, и еще кто-то, кажется, — щенок. А вокруг них — маленький домик, и под крышей — звездочка из фольги. Домик сделали Лера и Зося, они вырезали его



из коробки от трамадола. А фигурки склеили Эрик и Лиза. Отец Глеб сказал, что это называется вертеп, то есть пещера. Но больше похоже на домик. Его сделали для всех, чтобы все посмотрели. Вертеп долго был у меня, стоял передо мной на столике для еды. Я смотрел на него, смотрел и, наверное, немного заснул, потому что мне показалось, что фигурки двигаются, как в кукольном театре, а звездочка улетает и прилетает.

Я хотел попросить Богородицу, чтобы сегодня пришла мама. Но подумал, что Богородица занята, потому что у нее только что родился Иисус Христос. А сам Иисус Христос еще маленький, чтобы его о чем-то просить. А про Иосифа я не знаю, можно его просить или нет. Поэтому я, как всегда, попросил своих святых — Николая Чудотворца, целителя Пантелеймона и Алексея, Божьего человека. И чтобы сегодня не было приступов... Потом отец Глеб унес вертеп показать другим...

В очках, которые мама прислала мне на Новый год, есть игра «Битва драконов». Я уже играл в нее, только мне не нравится, что там приходится драться, кусаться и плевать огнем, и еще, что там впереди видна рогатая голова, а с боков — черные крылья с шипами. Но сегодня я нашел в игре белого дракона и улетел на нем далеко, где никто за мной не гонялся и не надо было драться, и там я просто летал над горами, и даже выше облаков. Я написал маме, что мне нравится эта игра. Она ответила сегодня быстро, но, как всегда, написала мало... Иногда мне кажется, что это не мама отвечает, а кто-то другой за нее. Я не могу ей звонить, потому что мама очень занята. И приехать она поэтому не может.

Я придумал, что, когда смогу встать, найду какую-нибудь чужую странную одежду и приду в ней домой, и меня никто не узнает. Так сделал Алексей, Божий

человек. Он тридцать лет жил в родном доме под видом странника, и никто не догадывался, что это он... Но так, наверное, не получится, потому что мама все равно меня узнает...

А три дня назад у меня был приступ, но ангел быстро помог, и я уснул. А когда проснулся, понял, что кто-то держит меня за руку, и подумал, что это мама. Но когда открыл глаза, увидел, что это Вероника. Мне хотелось заплакать, но я сдержался и не стал...

Сегодня хороший день! Я думал, что все чудеса кончились и больше не будет, но вошли Дина Маратовна и Семен Савельевич и принесли белую коробку с синей лентой, и Дина Маратовна сказала, что это мне подарок на Рождество от мамы, а Семен Савельевич поставил коробку мне на живот. Я сразу почувствовал, что коробка шевелится. Семен Савельевич сказал, чтобы я открывал скорей, и сам развязал ленту. И когда я снял крышку, он наклонил коробку, и из нее на меня вышел щенок с белой мордочкой, рыжим лбом, черной спинкой и белыми лапами, и еще с синим бантом на шее. Он пошел по мне и сразу стал лизать мне губы.

И тут я увидел, что дверь открылась, и заглянул дядя Саша, мамин водитель. Я сразу его узнал и подумал, что с ним приехала мама. Но дядя Саша закрыл дверь и больше не заглядывал. Я спросил у Дины Маратовны, где мама. А она сказала, что мама в другой стране и опять не смогла приехать.

Потом пришел доктор, которого я раньше не видел, и принес специальный дом для щенка, который называется вольер. Там есть все, что нужно: миски для корма и для воды, будочка, где он может спать, и даже туалет. Только щенок еще не умеет ходить в туалет в одно место. Поэтому в вольере постелены пеленки, и их будут менять. Этот вольер перекачивается на колеси-

ках, его могут оставлять в моей палате или убирать. Но всегда, когда я захочу, щенка принесут мне в кровать.

Теперь мне надо дать ему имя. И я вот что придумал: я спрошу отца Глеба, что за щенок был там, где родился Иисус Христос. Может быть, отец Глеб знает, как его звали. И тогда я назову моего щенка так же. У него черный хвост с белым кончиком. Это охотничий пес. Я научу его давать лапу.

Уже почти пять часов, а приступа не было. Может быть, это сегодня главное чудо и я уже выздоравливаю?.. Но я волнуюсь — вдруг мой ангел тоже подумает, что я выздоравливаю, и улетит куда-нибудь далеко, а приступ все-таки начнется, и он не услышит меня...

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



1 МАРТА. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИВАН

Мчатся тучи, выются тучи,  
Невидимкою луна  
Освещает снег летучий...

Всякий раз, когда подхожу к этим воротам, цепенею от страха. Ноги подкашиваются, не идут. И даже пушкинские «Бесы» не помогают, хотя это мой старый проверенный способ: если страшно, твержу эти строчки про себя, шепчу их или даже выкрикиваю, но только когда никого нет рядом — все-таки я стараюсь не выглядеть сумасшедшим.

Еду, еду в чистом поле,  
Колокольчик дин-дин-дин...

Нет. Все равно не по себе!..

Эти нелепо громадные ворота всегда распахнуты. Кованые створки перекошились и вросли в землю, а сейчас на треть утопают в сугробах. Но мне кажется:

вот войдешь — и ворота оживут, захлопнутся за спиной, как капкан.

Створки висят на массивных столбах, похожих на крепостные башни. Когда-то вправо и влево от ворот уходила ограда, но ее давно разрушили, растащили по кирпичику, так что одиноко торчащие столбы с шипастыми створками выглядят до жути нелепо.

К правому столбу прикручена вывеска:

МЗ РФ  
ДЗ г. Москвы  
ЛМУУПП  
«СГД-хоспис № 84»

Каждый раз останавливаюсь перед воротами и подолгу разглядываю эту вывеску. Не потому, что она мне нравится, — наоборот, меня бесит эта дурацкая кучка букв! Мне отвратительны аббревиатуры. Для меня они — издевательство над языком, уродливые порождения тупой бюрократии. В моем лексиконе больше миллиона слов, я знаю двенадцать языков, из них четыре древних, на которых никто не говорит уже тысячи лет. Но чтобы расшифровать эту убогую вывеску, мне пришлось лезть в интернет! Ну ладно, МЗ и ДЗ — еще понятно: это министерство и департамент здравоохранения. Но вот что за чудовищный ЛМУУПП? Оказалось, так обозначается «лечебное муниципальное унитарное учреждение педиатрического профиля»... Ну а что такое СГД, сегодня, к несчастью, знают все. И вздрагивают от этих букв, сбитых в жесткую колючую конструкцию — СГД. Синдром Гувера — Джонса...

И вот всякий раз, подойдя к этим воротам, стою как баран, уставившись на облезшую вывеску, и распаяю

себя, клянусь тупых бюрократов, киплю от злости. Но не потому, что я такой желчный, а потому, что закипающий гнев придаст мне смелости идти дальше.

Хоть убей, следа не видно,  
Сбились мы, что делать нам...

Ворота позади. За ними начинается крутая и кривая асфальтовая дорожка, идущая к хоспису через еловый бор. Вековые ели стоят по сторонам сплошным частоколом. Здесь — нечаянная подмога: дорожка покрыта ледяной коркой, и надо ступать осторожно, чтобы не грохнуться, а я благодарен всему, что отвлекает меня от страха. Вот и погода сегодня помогает: безумная чехарда солнца и метели и льдистый снег, секущий лицо...

Вьюга злится, вьюга плачет,  
Кони чуткие храпят...

Сегодня мой день рождения. Тридцать седьмой. Но об этом никто, кроме меня, не помнит — как и в прошлом году, да и в позапрошлом тоже. Отец, правда, год назад позвонил. Но с опозданием на неделю. Долго, путано извинялся. Хотя при этом думал, что опоздал всего на день... Ох, да Бог с ним! Мне даже спокойнее, что никто не знает про мой день рождения.

Зато утро сегодня выдалось замечательное! Мои хозяева второй день как укатали к родственникам — куда-то в Елец, что ли. Я свободно шастал по квартире как по своей. И даже сделал себе отличные подарки. Во-первых, наступил босой ногой на что-то острое. Оказалось, что это винтик от любимых очков, потерянный две недели назад, и я сумел вкрутить его на место кончиком ножа и починил отвалившуюся дужку. Во-вторых,



нашел на кухне медную хозяйскую турку, без дела влявшуюся на шкафу. Сварил в ней кофе, и он получился на редкость хорошим — забытый вкус! Ведь обычно мне приходится варить кофе в кастрюле, и всегда второпях... И вот с большой чашкой этого прекрасного кофе и в удобных любимых очках я засел за перевод древнего текста, к которому наконец подобрал ключи. Но скоро отвлекся, стал думать о другом, и из меня выскочило несколько неплохих строф, только рифмы надо будет подшлифовать... А потом — будто по затылку огрели — вспомнил, что придется ехать в хоспис, чтобы встретиться с отцом Глебом. Именно сегодня он пожелал обсудить мою работу. И вот целый час, пока я трясся в двух автобусах и ехал в метро, я нещадно грыз себя за то, что не решился воспротивиться отцу Глебу и перенести встречу на другой день... Ох, да какая разница! Все равно пришлось бы ехать сюда рано или поздно.

Сил нам нет кружиться доле,  
Колокольчик вдруг умолк...

Для Пушкина тридцать седьмой день рождения стал последним. А мне что принесет этот год моей жизни?..

Совсем замедляю шаги, делаю вид, что задыхаюсь, поднимаясь в горку, даже держусь за еловые стволы, близко подступающие к дорожке. Это — трусливая пантомима для проходящих мимо людей: боюсь показать им, что ноги у меня подкашиваются от страха.

Скоро еловое ущелье раздвинется, и покажется здание хосписа. Дорожка становится более пологой, но начинаю и вправду задыхаться. И с каждым шагом сильней искушение повернуть и бежать обратно, прочь от этого места... Но до такого малодушия я опустился

лишь раз — прошлой осенью, когда услышал *оттуда* протяжный и тонкий крик. Не хриплый, не срывающийся, а чистый и звонкий, на одной ноте, будто там шел урок вокала. Все окна закрыты, и, значит, крик был таким, что пронзал стекла. Кричало все здание, кричал парк. Вот тогда я повернулся и побежал, обжигаясь стыдом под взглядами людей, идущих навстречу. Но все же успел заметить, что одни замерли, остолбенели, услышав крик, а другие как ни в чем не бывало продолжают шагать, и я подумал, что так можно отличить посетителей от врачей.

Мчатся бесы рой за роем  
В беспредельной вышине...

Нет, не помогает!.. Однажды по дороге к хоспису попробовал молиться вместо этих «Бесов». Но — Господи, прости — с молитвой почему-то стало еще страшней.

Здание, где размещается хоспис, наверное, самое странное в Москве. «Википедия» сообщает, что ему всего-то сто пятьдесят лет. Но выглядит оно как средневековый замок. Да еще такой, которому намеренно придали устрашающий вид. Его построил некий богатый безумец, возомнивший себя магом, алхимиком, Фаустом и чуть ли не великим инквизитором. Построил для себя и для собраний тайного общества — то ли масонов, то ли розенкрейцеров, то ли еще кого похуже. Этот замок, угрюмый днем и зловещий ночью, стоящий на холме в густом еловом бору, некогда считался подмосковной усадьбой, но, давно поглощенный растущим городом, не слился с ним, остался торчать на его теле уродливой черной бородавкой... Известно, что строители замка

коптили каждый камень над горящей смолой, чтобы стены казались опаленными пожаром, как стены крепости, пережившей осаду. Под крышей замка, словно ряды гнилых зубов, торчат странные обломки — останки горгулий, служивших водостоками. Не знаю, когда и зачем их разбили, но с тех пор дождевая вода течет прямо по стенам, оставляя на них красно-ржавые полосы и делая дом еще безобразнее... Умер хозяин черного замка нехорошей смертью, выстрелив себе в голову сразу из двух револьверов. Никто не захотел связываться с опустевшим домом, никто не купил его у наследников «великого инквизитора», и вскоре дом стал лепрозорием, холерным баракком, потом инфекционной больницей, и теперь, венчая эту мрачную биографию, — хосписом для детей, умирающих от СГД.

То, что внутри этого чудовища скрывается церковь, кажется невероятным. Но, приглядевшись, можно отыскать крест на островерхой башне, а рядом, в проеме каменной арки, — одинокий колокол.

В этой церкви служит отец Глеб. Уж не знаю, почему он — смотритель синодальной библиотеки — оказался здесь. Мне кажется, отец Глеб на хорошем счету в Патриархии. Как-то раз я наблюдал со стороны его беседу с одним из викариев Святейшего Владыки, отцом Артемием, и тот обращался к отцу Глебу как к равному. Их тихий разговор в коридоре хосписа я не мог слышать, но было понятно, что отец Артемий говорит взволнованно, а отец Глеб — успокаивающе. Один раз его рука даже по-дружески легла на плечо отца Артемия, и тот сразу сник, согласно закивал и, попрощавшись с отцом Глебом, прошел мимо меня, явно озабоченный. А отец Глеб смотрел ему вслед, как мне показалось, сочувственно... В общем, едва ли служение в хосписе — наказание или ссылка для отца Глеба. Ско-

рее — что-то вроде добровольной аскезы... А может быть, так в их высшем церковном обществе зарабатывают дополнительные баллы для карьеры?

...Сегодня Прощеное воскресенье, а я не могу унять досаду на отца Глеба. Какого ч... он заставляет меня снова и снова таскаться сюда! Почему не назначает встречи где-нибудь в другом месте, хоть я столько раз просил его об этом! Почему не может понять, что для меня здесь — анклав ада!.. Вообще-то, отец Глеб не похож на бездушного человека. Он, разумеется, видит мои мучения и как будто даже сочувствует мне. Но сочувствие это обидное — свысока и вперемешку с укором. Когда я вхожу в его комнатушку, всякий раз натываюсь на ироничный взгляд, в котором читается: «Ну что, горемыка, опять бежал по коридорам, закрыв глаза, зажав уши, стараясь не дышать, будто боялся подцепить бациллу страдания, будто гнались за тобой адские палачи со всем своим пыточным арсеналом?» По какому-то праву он совершает надо мной жестокий воспитательный акт. И это злит меня ужасно. Я, в конце концов, не ребенок, которого запирают в темном чулане, чтобы пересилил свои страхи!.. Обида на отца Глеба как шипастый сорняк, который я хочу вырвать из себя, потому что отец Глеб мне, в общем-то, симпатичен. Однако вырвать эту обиду я могу только с ее корнями — малодушием и постыдным безвластием над собой. Но корни уходят во мне на такую глубину, куда не добраться.

Главный вход в клинику — тяжелая двустворчатая дверь под чугунным козырьком, тоже черная, да еще покрытая странными корявыми знаками... Когда-то я хотел выяснить, что они значат. Но, перекопав с десятков фолиантов по тайнописи, так и не смог понять их

смысл или хотя бы определить, к какой эпохе они относятся...

Я не вхожу в хоспис через эту дверь. Оттуда по коридорам и лестницам — слишком долгий путь до кельи отца Глеба. Не глядя по сторонам, я плетусь за угол, к боковой двери, ведущей в приемный покой. Днем он всегда пуст — новеньких привозят только ночью. Уж не знаю, кем был заведен этот порядок. Сначала он казался мне странным, но, наверное, в нем все-таки есть смысл. Ночью все дети оглушены предельными дозами обезболивающих. Так что, по крайней мере, ночью в хосписе тихо, и вновь прибывшие не сразу понимают, куда они попали. А значит — меньше истерик. Жестокая реальность этого места начнет проявляться утром, когда палаты и коридоры наполнятся плачем и стонами возвращающейся боли, когда забéгают с тазами и шприцами сестры, когда начнет сгущаться вонь от гигиенических действий, которые здесь равнодушно называют «переодеванием». Но для попавших сюда детей уже не будет пути назад... Хоспис переполнен, как и множество других ему подобных, и новеньких могут принять только на освободившиеся места — словно отправляя на конвейер. И хотя детские организмы отчаянно, до последней возможности терпеть, до последней ниточки цепляются за жизнь, конвейер не останавливается и не дает задний ход. Потому что в мире еще не было ни одного случая излечения от СГД.

До неприметной двери приемного покоя остается несколько шагов, когда что-то падает сверху, едва не ударив меня по голове. Отскакиваю в испуге и вижу, что это синяя войлочная тапка. Смотрю вверх. Прямо надо мной на пожарной лестнице, вцепившись в перекладины, замерли двое — паренек и девчонка. Оба устави-

лись на меня. Несколько секунд длится немая сцена. Потом паренек, который висит на лестнице выше девчонки, негромко говорит:

— Ладно, слезаем...

Девчонка начинает спускаться и скоро добирается до нижней перекладины, но оттуда до земли — еще метра три. Она повисает надо мной, а я топчусь в растерянности. Отойти? Ловить ее?.. Инстинктивно подставляю руки. Но девчонка смотрит на меня и говорит тонким голоском, сдавленным от напряжения:

— Не... не надо! Я сама!..

Я делаю шаг в сторону, а она раскачивается и прыгает в сугроб, наваленный дворниками у стены. Через пару секунд рядом с ней плюхается парень. Сидя по пояс в снегу, они смотрят на меня серьезно и настороженно — без озорства, без улыбки. Прикидываю, что им лет по тринадцать-четырнадцать. Оба худые, бледные, большеглазые. Одеты бог знает во что. На девчонке шерстяная кофта — огромная, с чужого плеча, а на паренке — серый махровый халат. Голова у парня перевязана, на лбу сквозь бинт проступает красное пятно, делаю его похожим на самураю в боевой повязке. Девчонка вытаскивает из снега вязаную шапку и, не сводя с меня глаз, говорит пареньку:

— Лёнь, сэ... сэ... слушай, он нас за... заложит.

Похоже, она заика.

— Ладно, пошли! — Он тянет ее за руку, помогая выбраться из сугроба.

Механически поднимаю и отдаю девчонке упавшую тапку. Она напяливает ее на шерстяной носок, даже не отряхнув с ноги налипший снег.

Оглядываясь на меня, они уходят вдоль стены. У паренька из-под халата торчат трикотажные треники. На девчонке — тонкие лосины, уже мокрые от снега.

— Эй! — кричу я им вслед. — Куда? Холодно же!

Паренек останавливается, оглядывается, смотрит исподлобья и угрожающе говорит:

— Скажешь кому — пожалеешь! — Он выставляет вперед два костлявых кулачка и делает движение, будто откручивает чью-то тонкую шею. — Понял?!

Они поспешно уходят, хрустя тапками по снежно-ледяной корке.

А мне снова страшно до дрожи. Не потому, конечно, что я испугался наглой мальчишеской угрозы, а потому, что эта встреча кажется мне плохим, зловещим знаком. Сегодня обязательно что-то случится. Господи, я во всем вижу знаки! И самое ужасное — все сбывается.

В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.

Приемный покой начинается с тамбура — квадратной голой комнатки, где на стене висят «Правила нахождения в клинике» — черным маркером по серому картону. Родителей, которые привозят новеньких, дальше этого тамбура не пускают. Они могут лишь смотреть в окошко на второй двери, как их сына или дочь уводят в ночной коридор, в мертвенно-синее нутро хосписа. Здесь впервые осознается *неизбежное*. И для родителей жизнь их детей уже начнет сокращаться — сначала до часов посещения, жирно выделенных в «Правилах». Потом — до коротких передышек между приступами. Кому-то, может быть, еще выпадут светлые минуты, когда отступит боль, отпустит страх, когда покажется, что, просто обнявшись и прижавшись, можно от чего-то защититься, укрыться, спастись. Но болезнь всегда возвращается и атакует еще безжалостнее...

Синдром Гувера — Джонса не лечится потому, что, строго говоря, это не болезнь. СГД не поражает никакие органы, не вызывает никаких патологий. Предполагают, что это генетический сбой, из-за которого начинаются приступы беспричинной боли. Врачи называют ее нейропатической. То есть нервы как бы сами производят боль — такую невыносимую, что она разрушает организм — день за днем изводит, истощает и в итоге убивает. Самое загадочное, что болеют СГД только дети и подростки. Еще не было случая, чтобы этот синдром проявился у кого-то старше пятнадцати лет. Как это лечить, не знают. И даже сам порченный ген выявить не могут. Два года назад никто не слышал про этот синдром, пока он не начал встречаться все чаще — в разных концах света, без видимых причин, без вирусов и бактерий, появляясь из ниоткуда... У самого этого Гувера, описавшего болезнь, дочь умерла от СГД одной из первых. А жили они на маленьком острове возле Тасмании, куда никакой вирус не мог добраться из грязных и перенаселенных частей мира. Но и край света не защитил их от СГД.

Дверь из приемного покоя, ведущую в коридор хосписа, я открываю своей магнитной картой. Ее выхлопотал для меня отец Глеб, которого в хосписе ценят и уважают. Как-никак он здесь единственный, от кого исходит надежда, единственный, кто смеет сказать «все будет хорошо», даже когда все — хуже некуда. Здешние врачи смотрят на него с завистью. Они не имеют права давать надежду. «Все будет хорошо» — вождельные и запретные для них слова, слова-перевертыши, которые в одних устах — ложь, а в других... Правда?.. Или только соломинка для тех, кто захлебывается в отчаянии?..



Дверь впускает меня в хоспис и закрывается с резким щелчком.

Теперь начинается самое страшное — миновать длинный коридор, как-нибудь доковылять на чужих, деревянных ногах до поворота. А там уж — церковный притвор и низкая дверь, ведущая в ризницу к отцу Глебу...

Страшно, страшно поневоле  
Средь неведомых равнин!..

Есть у меня примета... Дурацкая, конечно, как и все приметы. Мне кажется, как пройдет день рождения, таким будет и весь мой следующий год. И вот надо же! День, который так хорошо начался, привел меня в этот жуткий коридор!.. И единственное, что мне помогает идти, — это тщеславие. Я просто хочу похвастаться перед отцом Глебом своими успехами. Перевод древнего манускрипта, который он мне поручил, сдвинулся с мертвой точки. И не просто сдвинулся! Я сделал такой рывок, что впору бежать и вопить «эврика!». Но здесь, в этом проклятом хосписе, я могу вопить только от страха.

...Длинный-длинный коридор без окон. Слева — двери в палаты. Под каждой светится золотая полоска — там, в палатах, высокие окна, в которые бьет солнце. В воздухе — острый запах дезинфекции вперемишку с тяжелым подвальным духом, который особенно силен здесь, на первом этаже. Отец Глеб говорил, что под всем зданием — обширные подземелья...

Первый отрезок коридора позади, осталось несколько шагов до поворота, и вдруг — крик, тот самый, который заставил меня бежать от хосписа прошлой осенью, только сейчас крик совсем близко, в ближай-

шей палате. Вжимаюсь спиной в стену и вижу, как передо мной открывается дверь, оттуда вместе с криком вырывается слепящий поток света, и в этом потоке я вижу выгнувшееся тело, аркой стоящее над кроватью — на пятках и на затылке. Не могу понять, кто там — мальчик, девочка? Вижу только силуэт, вижу движения босых ступней, которые задираются, когда крик стихает, и резко вытягиваются, когда начинается опять — на той же звенящей, невозможной ноте. Я точно знаю, что это тот самый крик. Но как же он... она... еще не умер?!

Солнечный поток гаснет, заслоненный чьей-то тенью, — из палаты кто-то выходит, может быть врач или сестра... Вжимаюсь в стену, не зная, куда бежать. Натыкаюсь на какую-то дверь. Толкаю ее спиной, валюсь в темноту, закрываю дверь и, стоя на коленях, держу ее изнутри, держу изо всех сил... Крик обрывается... Секунду... две... три... тихо... Меня трясет как в лихорадке, к горлу подкатывает тошнота... Господи, я больше так не могу! Я скажу им, скажу отцу Глебу, скажу всем — скажу, что болен! Да-да, тоже болен! Это не трусость, не малодушие. Это настоящая болезнь. Алгофобия — невыносимая, паническая боязнь боли. Психическое расстройство под кодом F40, жирно написанным на моей медкарте, прямо на обложке, — мой приговор на всю жизнь!.. Боже, мне так стыдно! Кто мне поверит, кто поймет, кто захочет влезть в мою шкуру — здесь, где бессилие перед болью — мука для всех!.. Ох, как же мне взять себя в руки, если вся моя жизнь — бесконечный, неотпускающий страх, который я пытаюсь удержать в себе — так же судорожно и отчаянно, как держу сейчас эту дверь! Каждую ночь я, трясясь и холодея, роюсь в интернете, читаю новости про этот ч...ов СГД. С ужасом жду, что болезнь

начнет проявляться и у взрослых. Если это случится, мне не жить. Меня убьет само ожидание, что и меня вот-вот поволокнут на дыбу, на костер, на колесование! Любая лживая новость на эту тему, которых полным-полно в интернет-помойке, ввергает меня в истерику. Хочу забиться в какую-нибудь щель, зарыться в яму, чтобы этот кошмар не заметил меня, прошел мимо, мучил бы кого-нибудь другого...

Под рукой чавкает сырая тряпка, в ногах катается пустое ведро... Похоже, я вломился в уборщицкую камеру. Пошарив по полу, нахожу свалившиеся очки — слава Богу, целы. Меня еще колотит, но двигаться уже могу. Скорей, скорей отсюда! Приоткрываю дверь. В коридоре пусто. Выскочить и бежать! К выходу, потом — кубарем по ледяной дорожке... Ох... Только вот бежать мне отсюда некуда... Без отца Глеба, без работы, которую он мне дает, я скоро окажусь в другом аду — в своем персональном. О, я слишком хорошо знаю, *что* меня ждет. Доберусь до своей кровати, забьюсь под одеяло, сожмусь в комок и буду лежать. Сейчас кажется, что так — легче. Может быть, даже смогу уснуть. Но утром не найду сил подняться, куда-то идти, что-то делать. А на следующую ночь — бессонница и стыд, терзающий хуже дыбы. И голос в голове — все громче, все навязчивей: «Ничтожество, урод, никому не нужный, даже себе не нужный, даже собой презираемый. Лежи тут и трясись, пока не свихнешься окончательно. Сдохни под этим одеялом, задушись этой подушкой, расколоти башку об эту стену...» И скоро совсем уже не будет сна — река сна превратится в застывший цемент, куда никак не нырнуть... И так — день за днем, ночь за ночью, пока что-то черное не начнет клубиться перед лицом... Я знаю, так уже было!.. И в этом черном — моя жизнь, мое будущее. И — моя смерть, ко-

торая с каждым часом будет казаться все желаннее, все утешительнее. И наступит миг, когда она приоткроется мне, и поманит, и коснется меня, показав, что в ее прикосновении нет ничего страшного... Господи! Я ведь знаю, я помню все это, хотя больше всего на свете хочу забыть! Ведь теперь у меня есть работа, которой я лечусь, и мои стихи... Но есть и этот проклятый хоспис, где мучаются и умирают. И я хочу бежать отсюда... Куда?! Тоже умирать, тоже мучиться. И значит, в этой затхлой каморке — мой тупик?.. Но если сегодня... Если сегодня я видел самое страшное и как-то пережил это, может быть, я все же смогу? Смогу повернуть не налево — к выходу в никуда, а направо — к храму, к отцу Глебу... Боже, пожалуйста, — направо!..

— У вас рукав испачкан.

Отец Глеб бросает на меня рассеянный взгляд и сразу отворачивается к полке со служебниками.

— Рукав?.. Какой-то порошок просыпался...

От рукава пальто резко пахнет хлоркой. Тьфу ты! А вдруг отец Глеб догадается, что я шарахнулся в уборщицкий чулан!..

— Возьмите щетку, там.

Щетка висит на крючке рядом со старинным ростовым трюмо. Я беру ее, стараясь не смотреть в зеркало. Не люблю зеркала и то, что за ними...

По этой ризнице при больничном храме можно судить о характере отца Глеба. Здесь явно видна граница между его мирской и церковной жизнью. Одежда, в которой он ходит по улице — пальто, перчатки, шарф, — как попало свалена на стуле. Зато облачения на плечиках висят так, словно отец Глеб линейкой вымерял расстояния между ними. На резной полке выстроены шкатулки с ладаном, склянки с лампадным маслом. На

отдельной подставке — черный клубок... Ризница — единственное место в хосписе, где мне более-менее спокойно. Здесь — тяжелая дверь с массивным засовом, белый свод, узкое окно-бойница в толстой стене...

Отступив к дверям, счищаю хлорный порошок с рукава, тщательно отряхиваю щетку, возвращаю ее на место и лишь после этого крещусь на икону в красном углу.

В ризнице у отца Глеба только одна икона. С нее печальными глазами смотрит мальчик — Спаситель в отрочестве. Каждый раз, глядя на Него, я думаю: когда, в каком возрасте Он осознал, *что* Его ждет? Не мог же с самого детства жить в ожидании пытки и смерти! Ведь это же ребенок... Даже если — Ребенок.

Перевожу взгляд на отца Глеба. Он закрывает служебник, ставит на полку. Встречаюсь с ним глазами. Он смотрит внимательно и удивленно.

— Что-то случилось?..

Всегда поражаюсь его пронизательности. Не очень-то уютно под таким рентгеном!

— Вы же знаете, — мямлю я, — мне здесь вообще не по себе...

— Да. Но сегодня другое. Вы как будто стали увереннее.

— Вот как?.. Разве?..

С отцом Глебом мы ровесники. Но мне кажется, что он намного старше. И не просто старше. Он как будто из другого отрезка жизни — из зрелости. Его серые глаза ярко светятся на смуглом лице. Свою густую черную бороду он стрижет коротко, под нижней губой уже видна седеющая полоска. Простой черный подрясник, стянутый монашеским поясом, ладно сидит на нем. А плечи у него так широки, что про себя я называю его Пересветом — монахом-воином.

— Вы никогда мне не исповедовались. Что вас оставляет? Я кажусь вам слишком строгим? — отец Глеб улыбается.

— Строгим?.. Нет. Скорее боюсь, что вы поймете обо мне больше, чем я скажу.

Он кивает — дескать, ладно, ни на чем не настаиваю.

— Ну, давайте уж, не томите! Что за грандиозный прорыв случился у вас с этим текстом? — Отец Глеб освобождает для себя стул, комом переваливая свою мирскую одежду на подоконник, а мне подвигает табурет и нетерпеливо похлопывает по нему. — Садитесь. Читал ваши письма, но мало что понял, кроме вашего взбудораженного тона...

Не снимая пальто, сажусь напротив отца Глеба. Нервная дрожь внутри еще не прошла, но я знаю, что успокоюсь, заговорив о работе.

— Я начал переводить рукопись Кириона.

— Как! Неужели разгадали шифр?

— Нет, не шифр, — говорю я. — Никакой это не шифр, в том-то и дело. Сначала я и сам думал, что это тайнопись. Вы же знаете, сколько я над ней бился! Буквы похожи на греческие, но в слова не складываются, как ни переставляй. И не давало покоя — где-то я видел похожие письма. А на днях стал листать «Каталог манускриптов» и сразу наткнулся — вот они! Никакая это не тайнопись — открытый текст. Ликийский язык со своей особой письменностью.

— Ликийский? — отец Глеб в изумлении поднимает брови. — Странно. Ведь все другие рукописи Кириона по-гречески — пересказы ранних апокрифов...

— А если это все же тексты разных авторов?

— Иван Николаевич, вы же видели оригиналы, которые передали нам греческие коллеги. Двенадцать

свитков. Один и тот же пергамент, одни и те же чернила и, несомненно, одна и та же рука. Может быть, он написал двенадцатый текст на другом языке, чтобы сохранить его содержание в тайне?.. Вы сказали, ликийский язык. А где на нем говорили?

— Во времена Кириона этот язык уже умирал. Если на нем где-то и говорили, то, вероятно, в самых отдаленных местах Малой Азии.

— Вот как? Загадка. Откуда же Кирион знал этот ликийский?.. Эх, мы ведь ничего не знаем — кто он, откуда родом... Итак, вы начали переводить...

— Пока медленно. Ликийский изучен мало, глоссария нет. Приходится компилировать, догадываться по смыслу, находить похожие слова в родственных языках — хеттском, лувийском, искать параллели с арамейским... В общем, это пока не перевод, скорее пересказ...

— И все-таки, — перебивает отец Глеб, — что же там, в рукописи?..

— В самом начале — датировка: «Год восемьсот семьдесят третий, мартовские иды».

— Восемьсот семьдесят третий, — повторяет отец Глеб. — Значит, в пересчете с римского календаря это... это... примерно сто тридцатый год.

— Да, — говорю я. — Сто тридцатый.

— Иван Николаевич, дорогой! — Отец Глеб вскакивает со стула. — Да вы понимаете, что Кирион — почти современник евангелистов! А дальше, дальше — что там за текст?

— Дальше первая фраза, — говорю я, — или даже заголовков: «Зачем Богу нужны наши страдания».

— *Нужны страдания?* — Отец Глеб в волнении стискивает руки. — А вы уверены, что там именно такой глагол — «нужны»? То есть «требуются»? Может

быть, сказано как-нибудь мягче? «Угодны», например? Ведь от этого меняется смысл...

— Нет! — говорю я. — Только не мягче!.. Над этим словом я бился три дня, понимая, что оно — ключевое. И в итоге остановился на самом нейтральном переводе. А можно было перевести жестче, гораздо жестче. Буквы соответствуют арамейским — «алаф», «каф» и «далат». И вместе дают глагол «жрать».

— Жрать?

— Да-да — жрать. То есть поедать, пожирать. Но вы же понимаете, что во многих языках это слово означает не только еду, но и жертвоприношение. Вы и сами на каждой литургии произносите церковнославянское «жрать» в смысле «приносить жертву». И «жрец» — от того же корня. Тысячи лет богов задабривали мясом жертвенных животных, а когда-то — и человеческим мясом. На жертвенниках горела плоть — трапеза для богов, и сами алтари назывались «трапезами»... Но все это вам, конечно, известно... В общем, дословный перевод этой фразы мог быть таким: «Почему Бог питается нашими страданиями», то есть пожирает их как жертву...

— Но постойте! — Отец Глеб садится на стул, но опять вскакивает. — Кирион жил во времена первых христиан. Вероятней всего, и сам принадлежал к христианской общине. А их вера была сплошным упованием на то, что Христос стал последней жертвой, искупающей все. А тут опять — Бог, питающийся страданиями, Бог, пожирающий жертвы!..

— Отец Глеб!.. — Я стараюсь сдержать раздражение. Очки то и дело сползают, вдавливаю их пальцем в переносицу. — Послушайте! Конечно, можно что угодно подогнать под наши представления. Но, поверьте, в оригинале эта фраза звучит предельно жестко...



С другой стороны, разве не может быть, что это — полемика Кириона с язычниками или даже с единоверцами — с теми, кто еще не избавился от старых представлений о Боге как о голодном чудовище? Отсюда и намеренно грубая форма... Возможно, мы не всё знаем о жизни и вере первых христиан...

15 МАРТА 130 ГОДА. ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ИГР

## КИРИОН

— Геронда, геронда<sup>1</sup>, проснись, за тобой пришел солдат...

Тонкий голосок Хлои — паутинка, вытаскивающая из сна.

— Геронда, там солдат...

Кирион с трудом разлепляет веки. В тюрьме его глаза стали сильно гноиться, и утром приходится открывать их пальцами, раздирая засохший гной. Сколько он смог поспать? Может быть, пару часов между голодными спазмами...

— Геронда!.. — Хлоя начинает тихонько толкать его в плечо.

В следующий миг Кирион видит яркий свет и чувствует, как хитон на его груди сгребает чья-то сильная рука, тащит Кириона вверх и рывком ставит на ноги. Прямо перед ним — смуглое, изрытое оспинами лицо, лоб, покрытый железным обручем. Темные глаза смотрят с мрачной неприязнью. В одной руке у солдата — горящий факел, другой он встряхивает Кириона, при-

<sup>1</sup> Геронда (*зреч.*) — уважительное обращение к пожилому человеку. Отчасти соответствует русскому слову «старец». (*Здесь и далее примечания автора.*)

нуждая его окончательно проснуться. Отрывисто спрашивает на латыни:

— Ты — Краснорукий?

— Я, — отвечает Кирион и поднимает вверх правую руку, кисть которой скрючена, сморщена, неподвижна, похожа на багровую куриную лапу.

— Иди за мной, — говорит солдат и отпускает хитон Кириона.

На слабых, подламывающихся ногах Кирион идет за солдатом по подземелью и в желтом свете факела видит лица сидящих на полу людей, с тревогой провожающих его глазами. Этих лиц он не видел уже много дней — в темноте каземата приходилось жить на ощупь, лишь когда сверху спускали котел с похлебкой, из откровенной дыры на несколько мгновений просачивался свет.

Из дальнего угла, из темноты до Кириона долетает голос Власия:

— Будь стойким, брат. Господь не оставит.

В низком проеме двери, ведущей из каземата, солдат гибает. Щурясь на свет факела, Кирион следует за ним и слышит, как сзади тюремщик с лязгом задвигает засов. Дальше — крутые ступени вверх, которые солдат одолевает в три прыжка, а Кириону приходится карабкаться по ним на четвереньках, дрожа от слабости.

— Поспеш, раб! — рычит солдат.

Кирион доползает до его ног, стоящих на верхней ступеньке. Эти ноги, обутое в калиги на толстых подошвах и до колен оплетенные ремнями, густо волосаты и огромны, как два столпа.

— Я не раб, — говорит Кирион, не поднимая головы. — Я — свободнорожденный гражданин.

— Ты не раб? — с насмешкой повторяет солдат. — Хорошо. Значит, ты — пес. Так тебя можно звать? Те-

перь иди за мной, отставая на пять шагов, — не дальше, но и не ближе. Потому что воняешь ты, как пес. И даже хуже — как старый больной баран.

Через несколько шагов они выходят во двор претории<sup>1</sup>, и Кирион едва не захлебывается свежим весенним воздухом, невыносимо резким после затхлого подземелья.

Над высоким колодцем освещенного факелами двора — ночное небо с полной луной в зените. На каменных выступах вдоль стен сидят солдаты. У их ног сложена амуниция, торчком стоят медно-блестящие кирасы в форме могучих торсов, покоятся на коленях мечи в ножнах. Одни солдаты спят, привалившись к стене, другие равнодушно смотрят на Кириона и его конвоира. Выглядят они усталыми — похоже, прибыли недавно. Но с первого взгляда на их дорогие пурпурные туники, щиты со скорпионами и чеканные ножны понятно, что это не простые солдаты, а воины элитного легиона. А то и сами преторианцы. Но что делают преторианцы здесь, в мирном захолустье, за тысячу миль от Рима?..

Конвоир минует двор не останавливаясь. Его калиги скрежещут шипами по каменным плитам и отмеряют такие огромные шаги, что Кириону приходится, задыхаясь, бежать следом.

Агора за воротами претории мертвенно безлюдна в лунном свете. Это удивляет Кириона, потерявшего в тюрьме счет времени. Отчего-то ему кажется, что сейчас должен быть день.

Они проходят агору по диагонали, направляясь к вилле проконсула — единственному зданию, в окнах

<sup>1</sup> Претория — административное здание в провинциальном городе Римской империи. Как правило, претория включала в себя канцелярию местной администрации, солдатские казармы, судебную палату и тюрьму.

и колоннадах которого мерцает свет, и удивление Кириона все возрастает. Кому в этот час понадобилось видеть его, да еще и в доме проконсула?

Четверо преторианцев в латах и коротких плащах застыли на ступенях виллы, широко расставив ноги и держа на отлете копьа с алыми древками. Конвоир, полуобернувшись к Кириону, делает знак рукой — стоять! Потом подходит к одному из преторианцев, что-то негромко говорит ему, и преторианец кивает в ответ. Их пропускают во внешнюю колоннаду, где конвоир останавливается перед задернутой завесой, из-за которой слышны негромкие голоса.

Через пару минут в колоннаде появляется бритоголовый мужчина в странном полувоенном облачении — патрицианской тоге, наброшенной поверх чешуйчатого нагрудника. Он скептически осматривает Кириона, долго не сводит глаз с его искаленной руки, и под этим взглядом Кирион снова, как только что в тюрьме, поднимает руку, показывая ее бритоголовому — словно сегодня его рука стала каким-то пропуском.

Мужчина делает небрежный жест в сторону конвоира — свободен! — и тот удаляется.

— Тебя желает видеть августа, — говорит мужчина.

— Августа? — не понимает Кирион.

— Да, августа. — Бритоголовый брезгливо морщится, показывая, как противна ему тупость Кириона. — Ты не знаешь, кто такая августа? Достопочтенная Вибия Сабина, супруга нашего цезаря и понтифика Адриана... Сейчас ты сделаешь шаг за эту завесу, и останешься, и будешь стоять молча и неподвижно, пока августа не обратится к тебе. На колени не падать, не кланяться, смотреть вниз.

Бритоголовый отодвигает завесу, и Кирион оказывается в просторном атриум. По всему его периметру

в пролетах между колоннами горят светильники — чаши на тонких высоких ножках. Квадратный проем в потолке позволяет видеть черное небо и луну — яркую и белую, словно отверстие, прорезанное в небосводе из ночи в день. Вторая луна отражается в бассейне, занимающем центр атрия. Но эта вторая луна, в отличие от небесной, дрожит и приплясывает, подвластная легкому сквозняку над водой.

С минуту атрий остается пустым, но вскоре на его противоположном конце приходит в движение завеса, скрывающая внутренние покои, и, обходя бассейн, к Кириону направляется высокая женщина в белой палле, верхний край которой покрывает ее голову. Не дойдя до середины атрия, женщина останавливается, бросает короткий взгляд на Кириона и говорит куда-то в сторону:

— Помойте его.

Спустя полчаса Кирион вновь стоит в атрии и усилием воли пытается унять головокружение, которое началось у него от горячей воды и пряного аромата, наполнявшего термы. Он едва не упал, возвращаясь из терм через боковой двор, но был подхвачен сопровождавшим его рабом. Кириону не только позволили вымыться, дав губку и плоску с мылом, но и выстирали его хитон и даже успели высушить его, положив между двумя горячими каменными плитами. Однако ему не вернули нижнюю одежду и, вероятно, сожгли ее вместе с блохами и вшами, так что теперь он был голым под хитоном и чувствовал себя от этого странно и неловко...

Вновь женщина в белом появляется из внутренних покоев, идет к нему через атрий, и вновь Кирион удивляется тому, что она совсем не похожа на жену цезаря,

которую он мог представить лишь укутанной в виссон, возлежащей перед пиршественным столом в окружении слуг и телохранителей. И уж если бы она заговорила с ним, Кирионом, то не иначе как через секретаря. А эта — одна, без свиты, в простой палле, лишь по краям украшенной шитьем. Ни сверкающей самоцветами заколки на плече, ни диадемы в волосах, ни золотых браслетов на руке, которой она придерживает у щеки край паллы... Впрочем, в атрии все же есть предмет, достойный служить императрице, — резное золоченое кресло, в которое женщина, подойдя, садится. Между ней и Кирионом остается не больше пяти шагов, и, бросив быстрый взгляд исподлобья, он успевает увидеть ее лицо с бледными, бескровными губами, тонким носом и густыми, выкрашенными коричневой краской бровями. И еще успевает заметить, что ее глаза полны какой-то неясной тревоги.

Не говоря ни слова, женщина показывает на мраморную скамью за спиной Кириона, и, отступив на пару шагов, Кирион садится на самый край. Женщина продолжает смотреть на него, но Кирион не отваживается поднять голову и встретиться с ней глазами. Он помнит наставления бритоголового, а главное, опасается, что увидит во взгляде августы нечто недоброе.

— Не прячь глаза, я этого не люблю, — наконец обращается она к Кириону на общем языке<sup>1</sup>.

Взглянув на нее, Кирион понимает, что она смотрит испытующе, но как будто беззлобно.

— Сколько тебе лет? — спрашивает она.

— Шестьдесят пять, госпожа, — отвечает Кирион, чувствуя все возрастающее недоумение и даже какую-

<sup>1</sup> Общий язык (койне) — во времена Римской империи язык межнационального общения; близок к современному греческому языку.

то нереальность происходящего, как будто здесь сидит не он, а его призрак — чистый, и в чистой одежде, и даже почему-то не мучимый голодом, а настоящий Кирион корчится на клочке рогожи в душном каземате. — Прости, госпожа, я не знаю, как к тебе правильно обращаться...

— Мое имя ты знаешь — Сабина из рода Вибиев. Мой титул — августа. Но и обращение «госпожа» меня не оскорбит. А у тебя есть имя?

— Да, госпожа. Кирион<sup>1</sup>.

— Вот как? — В ее голосе, до этого ровном и бесцветном, появляются насмешливые нотки. — Значит, и ты тоже — господин?

— Нет, — качает головой Кирион. — Меня давно уже никто не зовет по имени. Я — Ширококкинос, Краснорукий.

— Краснорукий, — задумчиво повторяет Сабина. — Это странно...

Она надолго умолкает, смотрит в сторону. Кирион замечает, что ноздри ее тонкого носа подрагивают, словно она все время с тревогой принохивается к чему-то и вот-вот скажет: «Пахнет гарью, где-то пожар».

— Что странно, госпожа? — наконец решается спросить Кирион, но жена цезаря не отвечает, продолжая думать о своем.

— В юности моим героем был Муций Сцевола, — наконец говорит она. — Ты знаешь, кто это?

— Да, госпожа. Гай Муций, который на глазах царя варваров вложил руку в пылающую жаровню и, не дрогнув, сжег ее дотла, чтобы показать стойкость римских воинов. И пораженный царь велел своим варварам отступить от Рима. А Муций, оставшись без пра-

<sup>1</sup> Господний (*греч.*).

вой руки, получил прозвище Сцевола — Левша. И заодно — вечное место в истории.

— Да, верно... И вот странно, что сейчас передо мной ты — собрат Сцеволы, настолько непохожий на него... Впрочем, природа иногда удивляет и даже близнецы, появившиеся из утробы в один час, бывают настолько несхожи, что трудно поверить в их родство... Я слышала твою историю от нескольких людей, Хироккинос. А теперь хочу услышать ее от тебя. Так что же случилось с твоей рукой?

— Поверь, госпожа, — почтительно произносит Кирион, — я чувствую удивление не меньше твоего. Я поражен тем, что моя история могла дойти до самого Рима и стала известна такой высокой особе, как ты, и тем более что ты усматриваешь в ней сходство с подвигом прославленного героя...

— Не трать время, старик, — перебивает его Сабина. — Оставь эти ненужные предисловия. Я хочу услышать твою историю из твоих уст, и поскорее.

— История простая, госпожа. — Кирион низко опускает голову, почувствовав нотки недовольства в голосе августы. — Да, история простая и вовсе не героическая. Я не спас Рим, положив руку в жаровню. И ничего никому этим не доказал... Много лет назад люди, узнав, что я отказываюсь поклоняться капитолийским богам, силой привели меня в храм Юноны, вложили мне в руку фимиам и заставили бросить его на угли, разжав мою ладонь над жертвенником. Для них это была просто забава. А я сказал: «Раз так, пусть сгорит эта рука, предавшая меня и моего Бога». И сунул руку в жаровню. Но очень скоро лишился чувств и упал возле жертвенника. Вот и вся история, госпожа. История, узнав которую, люди начинают считать меня глупцом. И не просто глупцом — безумцем...



Сабина слушает, время от времени кивая — то ли словам Кириона, то ли своим мыслям. Когда Кирион заканчивает рассказ, она еще долго молчит.

— Ты говоришь складно, — наконец произносит она. — И производишь впечатление воспитанного человека. Ты грамотен?

— Да, госпожа. Я читаю и пишу на четырех языках.

— Вот как... — Голос Сабины смягчается. — Что ж, это еще одна странность. Признаться, ожидала, что ты окажешься тупым и угрюмым фанатиком... Скажи, Хирококкинос, те люди, которые сейчас в тюрьме, — кто они тебе?

— Там моя семья, — тихо говорит Кирион, — две дочери, два зятя и три внуки. Остальные — братья и сестры по вере.

— И это та самая вера, которая заставила тебя вложить руку в огонь, вера в осужденного и распятого сто лет назад иудейского мессию, вера, которая вызывает все большее недовольство у властей и простых граждан?

— Да, госпожа.

— Вот, кстати, еще одна странность, — произносит августа. — Мой дед, Тит Вибий Вар, лично знал человека, осудившего на смерть вашего мессию. Правда, тогда этот человек давно уже не служил прокуратором, а жил на покое на острове Капри.

— Мы помним имя того прокуратора, госпожа. Его звали Пилатом. И он долго свирепствовал в Иудее.

— Свирепствовал? — Сабина удивленно поднимает брови. — Своей, как ты говоришь, свирепостью он пытался вразумить буйный народ Иудеи и предотвратить все худшее, что случилось потом, когда смутьяны довели дело до большой резни и по Иудее прошли железные когорты, а ее столица была обращена в прах

подобно Карфагену... Но я не намерена вести с тобой исторические диспуты, старик... Лучше скажи — что за дело вам, живущим здесь, в тихой и цветущей Вифинии<sup>1</sup>, которую войны, бунты и прочие потрясения всегда обходили стороной... Что за дело вам до какого-то канувшего в Лету мессии — выходца из дикой пустыни, из края головорезов и смутьянов?

— Мы приняли его учение, госпожа, — учение, в котором нет ни одного призыва к насилию, но в изобилии проповеди о любви к ближнему.

— О любви к ближнему, — повторяет Сабина, и в ее голосе слышится сомнение. — И снова странность. Если эта вера так миролюбива, почему люди считают вашу секту людоедской, рассказывают о кровавых ритуалах, практикуемых вами? И даже говорят, что безумный мессия, которому вы поклоняетесь, призывал своих клеветников съезть *его самого* — съезть его плоть и выпить кровь!

— О августа, — со вздохом говорит Кирион. — Таково примитивное и буквальное понимание иносказаний мессии. Во всеобщей неприязни к нашему братству сошлись три главные черты плебса — страх перед непонятным, ненависть к инакомыслию, а главное — желание отыскать виновных во всех бедах и покарать их. Злобные слухи о нас родились во времена цезаря Нерона, который обвинил наших братьев в поджоге Рима и прочих преступлениях. И с тех пор эти слухи живут и разрастаются подобно ядовитому плющу, оплетшему нас...

— Ты слишком многословен, старик. — Сабина поднимает руку, прерывая Кириона. — Я не хуже тебя осведомлена о подлых нравах плебса, так что оставим

<sup>1</sup> Вифиния — провинция Римской империи на побережье Малой Азии, часть древней Ликии.

это... А сейчас я хочу услышать от тебя вот что: пожалел ли ты когда-нибудь о том, что сжег свою руку, поступив так из преданности вашему мессии? Клял ли себя за то, что прожил жизнь калекой?

Несколько мгновений Кирион молчит, потом тихо, но твердо говорит:

— Нет, госпожа. Я ни разу не пожалел об этом.

— Но тогда ответь: вот ты, как я уже сказала, не похож ни на фанатика, ни на безумца. Ты никогда не видел вашего мессию и не мог подпасть под его чары, если таковые были. Значит, подобную твердость убеждений тебе дает именно его учение, его слова, как-то дошедшие через столько лет до тебя и твоих единомыслителей. Так в чем же притягательная сила этого учения?

— В том, моя госпожа, что оно ведет к освобождению от зла. Но не внешнего зла, а внутреннего — от греховного зла в собственном сердце. И тем указывает путь к спасению.

— К спасению... — В голосе августи звучит сарказм. — Почему же ваш мессия не смог вразумить и спасти от истребления своих соплеменников в несчастной Иудее?.. И что все-таки означают его безумные слова о поедании плоти?

— Они означают, госпожа, что наш мессия принес себя в жертву. А мы должны принять эту жертву, насытиться ею как духовной пищей и стать достойными этой жертвы...

Говоря это, Кирион бросает взгляд на августу и видит, что она широко зеваает. И, зевнув, произносит:

— М-да... Поразительно, что столь туманное и далекое от жизни учение владеет умами так долго...

— Главное, госпожа, не слова мессии, а то, что случилось после его смерти... — начинает Кирион, но не успевает договорить.

Из-за его спины, бесшумно ступая в мягких сандалиях, появляется бритоголовый римлянин, подходит к Сабине, склоняется к ней и что-то вполголоса произносит.

— Когда? — спрашивает августа на латыни.

— Через девять дней, — уже громче докладывает бритоголовый и, повинуясь жесту Сабины, исчезает за завесой.

С минуту августа сидит молча, вновь захваченная неведомыми Кириону мыслями, затем говорит:

— Я слышала, безбожников, подобных вам, именуют христианами...

— Да, госпожа. — Кирион склоняет голову. — Христос — это и есть наш мессия, божий посланник. Так это слово звучит по-гречески.

— По-гречески? Значит, вы — греческая секта?

— Нет, госпожа.

— Иудейская?

— В нашей среде есть люди разных народностей, — говорит Кирион, — те, кому открылась Христова истина...

— И сколько же христиан здесь, в Олимпосе?<sup>1</sup>

— Немного, госпожа. Лишь те, кто сейчас в тюрьме. Шесть семей. Всего — тридцать пять человек вместе с женщинами и детьми... — Говоря это, Кирион вдруг чувствует, как в его нутро опять вгрызается голодный спазм, невольно охает и хватается за живот.

— Что с тобой, ты болен? — холодно спрашивает Сабина.

— Нет, госпожа. Это просто голод напоминает о себе...

— Я велю накормить тебя. Но прежде мы должны закончить разговор, ради которого ты здесь... Итак,

<sup>1</sup> Олимпос — город на побережье Малой Азии.

Кирион... Боюсь, у меня плохие новости для тебя и твоих единоверцев. Знаешь ли ты, почему все вы оказались в подвале претории?

— Не знаю, госпожа, но догадываюсь. Нас хотят обвинить в поклонении Христу...

— Да, это так. Однако вас бы никто не тронул, если бы не обстоятельства, которые сложились неблагоприятно. Скоро сюда прибудет цезарь. Здесь он решил отпраздновать день рождения своего возлюбленного, греческого юноши, и показать ему место, где герой Эллады Беллерофонт бился с огнедышащей Химерой и сразил ее, а труп закопал под горой — той самой, из недр которой до сих пор вырывается пламя. Здешний проконсул, желая угодить цезарю и его любовнику, намерен устроить большие игры на столичный манер. Уже сооружен деревянный цирк, ведь здешний каменный амфитеатр слишком мал для такого события. На арену цирка выйдут акробаты и гладиаторы, бестиарии<sup>1</sup> и люди-саламандры, проходящие сквозь огонь, и кто-то там еще... — Сабина морщится и трет висок, будто ее голову пронзила внезапная боль. — Но главной частью представления, — продолжает она, не отнимая пальцы от виска, — будет воссозданная легенда о Химере, которой приносят человеческие жертвы. Химеру, точнее — многих Химер, изобразят голодные львы, как-то по-особому наряженные... А жертвы будут настоящие. И, думаю, ты уже догадался, кому уготована эта роль.

«Хлоя! — проносится в голове Кириона. — Она так кричала прошлой ночью, ей приснилось, что на нее набросился лев... А еще Лидия, и Агата, и другие дети... Но мы ведь знали, что когда-нибудь так может случиться

<sup>1</sup> Бестиарий — участник древнеримских зрелищных игр, сражавшийся на арене с дикими зверями.

и Господь призовет нас, уповая на нашу стойкость... Но голодные львы... И дети... Разве это можно вынести?..»

— Не хочу смотреть, как звери раздирают детей, — слышит он голос августы и пугается, что невольно высказал свои мысли вслух. — Нет, не хочу, — продолжает августа, и ее голос кажется усталым и равнодушным. — Нельзя сказать, что я чересчур чувствительна, нет. Скорее, дело в моем классическом воспитании, полученном от наставников-греков. Так или иначе, все эти кровавые зрелища, достойные мерзких варваров... Они просто... Просто оскорбляют мой вкус... Да, вкус! — вдруг кричит Сабина. — Ты слышишь, старик, оскорбляют мой вкус!..

Подняв глаза на августу, Кирион видит, что она сжимает виски уже обеими руками и ее пальцы трясутся. Край паллы спадает с ее головы, но она не замечает этого.

— Да-да, оскорбляют вкус! — снова кричит она.

Из внутренних покоев появляется девушка в белой тунике и, держа в руке небольшую чашу, быстро, почти бегом, спешит к Сабине, и та, схватив чашу, залпом выпивает ее, а потом, приняв из рук девушки платок, вытирает им губы и подбородок. Когда служанка удаляется, августа долго сидит неподвижно, глядя перед собой, словно изучая прожилки на мраморных плитах пола. Ее тягостное молчание усиливает волнение Кириона, и так почти невыносимое.

— Госпожа... — решается он позвать Сабину.

— Да, старик, дурной вкус — это опасный признак и для отдельного человека, и для империи, — спокойно говорит она, как ни в чем не бывало продолжая прерванный разговор. — Торжество дурного вкуса предвещает крах. А дойдя до некоего предела, дурной вкус и вовсе становится страшен. В мире дурновкусия чув-

ствуешь себя как в яме со зверями. — Она наконец отрывает взгляд от пола и встречается глазами с Кирионом. — Но это так, к слову. А сейчас суть в том, что людям с дурным вкусом понадобились жертвы. Но просто взять и бросить вас зверям, как куски мяса, нельзя. Ведь это Рим, и тут во всем должна быть видимость законности. — Губы Сабины искажает саркастическая усмешка. — Поэтому вашей казни будет предшествовать суд. От вас потребуется немного: не признавать, что вы — христиане, поклясться в верности цезарю и поклониться Юпитеру, в святилище которого пройдет суд над вами. И если вы поступите так, то даже у цезаря не будет формального повода отдать вас на съедение зверям... А теперь вот что скажи мне, старик. Имеешь ли ты влияние на своих единоверцев?.. Уверена, что имеешь, — продолжает она, не дав Кириону ответить. — Стоит тебе только поднять твою красную руку, и все будут внимать тебе и сделают так, как ты скажешь... Тебя, Хирококкинос, я не призываю отречься от твоей веры. Ты уже сделал свой выбор, когда вложил руку в горящие угли, и сейчас ты подтвердил мне, что не жалеешь об этом... Хотя вижу, как ты стал бледен и как гнетет тебя жестокая участь, уготованная вам. Возможно, львиные клыки страшат тебя больше, чем пылающая жаровня, и ты рассудишь, что предать... Нет, не предать, а просто слукавить перед твоим мессией куда разумнее, чем принять мучительную смерть для потехи негодяев и ради торжества дурновкусия... Ты говорил, ваш мессия исповедовал любовь и милосердие. Если так, то ему не нужны ваши жертвы. Ведь он не Химера, и не кровожадный Молох, и не Сатурн, пожирающий детей... Впрочем, ты волен поступать, как повелит тебе долг перед твоим кумиром. Возможно, и мужчины из числа твоих единоверцев решат сле-

довать этому долгу, недоступному моему пониманию. Это ваше право. Но повторяю, старик, я не хочу смотреть, как звери рвут детей своими клыками и когтями. Да и их матерям не место на кровавой арене. И потому я приказываю тебе, Хирококкинос, слышишь, приказываю: вели женщинам твоей секты выполнить необходимые условия, чтобы спасти себя и своих детей...

Смысл сказанного августой с трудом доходит до Кириона. Он слышит ее слова как бы сквозь крик маленькой Хлои, испуганной приснившимся львом. Он пока не может ни о чем думать, не может ничего ответить августе, он слишком слаб от голода и от обрушившейся на него страшной вести.

— Когда? — выдавливают он из себя. — Когда состоятся игры?

— Мне доложили, что Адриан сейчас в двух днях пути от Александрии, где его ждет императорская галера. Еще шесть или семь дней ему потребуется, чтобы пересечь Наше море<sup>1</sup>. Значит, через девять дней он будет здесь. И вряд ли захочет оттягивать начало игр... На этом все, — говорит Сабина. — Через три дня ты вновь предстанешь передо мной и доложишь, как выполнил мое повеление... Сейчас тебя накормят... И вот еще что. С этой ночи ты можешь выходить из тюремного подвала когда захочешь, но прочие безбожники останутся в тюрьме. И теперь от тебя зависит — куда они отправятся из претории.

— Госпожа... — К Кириону постепенно возвращается способность думать. — Спасибо за эту милость, госпожа... Моя жена Филомена тяжело больна. Ее не

<sup>1</sup> Наше море (*лат.* Mare Nostrum) — древнеримское название Средиземного моря.



взяли вместе со всеми. Она осталась на попечении соседей, и я не знаю, что с ней. Теперь я смогу увидеть ее... Благодарю тебя... Госпожа, и если уж ты так добра, прошу тебя, вели, чтобы моих братьев в тюрьме лучше кормили. Мы изнемогаем от голода. И еще изнемогаем от тьмы, в которой нас держат днем и ночью...

— Хорошо, — говорит Сабина после недолгого раздумья. — Я распоряжусь о еде и светильниках... И если в подвале есть отдушины, я велю их открыть, чтобы твои братья не задыхались в собственном зловонии.

— Благодарю тебя, августа...

Кирион с трудом встает и выходит из атрия, следуя за тем же рабом, который водил его в термы. Он едва держится на ногах, шатается, и раб вынужден придерживать его за плечо.

Кирион не видит, как августа снова хватается за виски и сжимает их, словно ее голова раздувается от боли или от каких-то страшных мыслей.

Полчаса спустя Кирион один, без конвоя, пересекает агору, освещенную уже не луной, а рассветным небом. Он чувствует, что его разум и душа как будто окаменели. Кирион спешит в преторию, обеими руками держась за хитон на животе. Под хитоном — фрукты и лепешки, куски сыра и мяса — все, что он сумел нагрести со стола, за которым его кормили. Никто не запрещал ему брать еду. И опасения, что еду отберут тюремные охранники, тоже были напрасны — его без обыска пропускают в подвал. И, спустившись к братьям, он видит, что там уже горят масляные светильники и все люди едят, сбравшись вокруг четырех котлов. И самое удивительное — едят не руками, а глиняными ложками, появившимися неведь откуда.

— Отец, иди скорее! — зовет его Дидона, старшая дочь, которая первой увидела, что он вернулся. — Нам принесли еду, отец! Вареный горох. И даже мясо!..

— Возьми, вот еще еда... — Он глазами показывает на свой хитон, который топорщится от снеди.

Дидона подбегает и начинает вытаскивать еду у него из-за пазухи.

— Смотрите! Здесь лепешки, и сыр, и сливы, и даже смоквы... Хлоя, дети, скорей, скорей сюда!

— Где ты был, брат? И откуда это все? — В голосе подошедшего к ним Власия слышится подозрительность.

— Я говорил с императрицей... Да-да, не думай, что я обезумел. — Кирион снизу вверх глядит на огромного Власия. — Императрица здесь, в Олимпии. А скоро сюда прибудет и сам цезарь... Брат, я все расскажу. Но сейчас мне надо спешить к Филомене. Августа позволила мне покинуть тюрьму. Прости, брат. Я скоро вернусь, и мы поговорим...

Комната пуста. На лежанке — скомканные тряпки, расколотый кувшин.

«Наверно, Симон и Лия забрали Филомену к себе», — думает Кирион.

С замирающим сердцем он переходит узкую улицу и, прежде чем постучать в дверь напротив, прижимает руки к груди.

— Господи, — бормочет он. — Боже милостивый, сохрани мою Филомену. Твоя воля во всем. Не дай мне, несчастному, погрязнуть в бедах и напастях подобно Иову. Господи, не оставь, помоги, укрой, защити...

Дверь перед ним распахивается. На пороге — Лия. Через мгновение Кирион все понимает по ее глазам. Лия молча сторонится, предлагая ему войти.

Но Кирион стоит, ухватившись за косяк, чтобы не упасть.

— Когда? — спрашивает он.

— Двенадцать дней назад, как раз на Пурим. — Лия низко опускает голову. — Кровь пошла из горла. Я была с ней... Войди в дом, Кирион, тебя могут увидеть.

— Могут увидеть? — тупо повторяет Кирион. — О чем ты?

Может быть, Лия считает его беглецом? Или просто не хочет, чтобы люди видели у ее дома христианина?

— Ее положили, как она хотела, вместе с матерью? — спрашивает Кирион.

— Да, — нетерпеливо отвечает Лия. — Да. Вместе с матерью, в их родовую лодку...<sup>1</sup> Послушай, Кирион, или зайди в дом, или уходи.

— Я уйду, Лия...

Кирион отступает назад и останавливается посреди улицы. Он не слышит, как Лия резко захлопывает дверь, не слышит, как она говорит за дверью подошедшему к ней мужу:

— Этот Краснорукий не в себе. Совсем как безумный. Может, в тюрьме с ним что-то сделали?..

— А деньги? — раздается за дверью мужской голос. — Деньги за погребение Филомены? Открой же, я с ним потолкую...

— Говорю тебе, он не в своем уме, — зло отвечает Лия. — Потом потолкуешь.

— Когда? — не унимается мужчина. — Когда он сдохнет под римскими бичами? Может, мы и его будем хоронить за наши деньги?..

<sup>1</sup> В древней Ликии погребальные склепы имели вид каменных ладей.

Кирион не слышит. Он медленно бредет к своей двери. Три ступеньки, ведущие к ней, он преодолевает с таким усилием, будто это горный перевал. И, шагнув через порог, в изнеможении садится на него. Его спина, обращенная к улице, вздрагивает — то ли от рыданий, то ли от тяжелой одышки. Так он сидит долго, ни о чем не думая, будто провалившись в пустоту. И в этой пустоте к нему запоздалым эхом возвращается голос августв: «Разве твой бог — кровожадный Молох, который хочет жертв?» И он вдруг резко и болезненно понимает, что должен ответить на этот вопрос, что такова жестокая необходимость и что без этого ответа вся его жизнь будет никчемной, как и его обгорелая рука. Он вспоминает, что через девять дней умрет. Но о собственной смерти он теперь думает без содрогания и даже — как о чем-то желанном, как о предвестии скорой встречи с Филоменой. Его страшит другое — что у него осталось слишком мало времени для ответа на вопрос, сорвавшийся с уст язычницы-императрицы и ставший главным теперь, в нескольких шагах от страшной арены, под взглядами желтых голодных львиных глаз.

С трудом распрямляя затекшие ноги, Кирион встает и пересекает комнату, заглядывает в кухонный угол, машинально отмечает, что полки, где стояла утварь, пусты — то ли Симон и Лия забрали все, то ли в доме побывали воры. Встав на колени, Кирион отодвигает камень у основания печи, достает из открывшегося тайника небольшой ящик, обитый медью, и ставит его на стол. В ящике — одиннадцать пергаментов, исписанных по-гречески пересказами того, что он слышал о Христе и Его учениках. Там же — один чистый пергамент, и тростниковый стилус, и чернильный порошок в деревянной коробочке, и красное вино в глиняном флаконе. Найдя на полке уцелевшую плоску,

Кирион prepares в ней немного чернил, размешивая порошок в вине тупым концом стилуса, потом садится к столу, расправляет перед собой чистый пергамент и прижимает свинцовым бруском его верхний край. Правую искалеченную руку он может использовать только как крюк, но левой действует с привычной ловкостью и пишет ею не хуже, чем когда-то писал правой.

Кирион пока плохо представляет — что и зачем он собирается писать. Он всегда боялся собственных мыслей о самых важных вещах и никогда не додумывал их до конца. А уж пачкать ими дорогой пергамент и вовсе считал непростительной дерзостью. Ведь он не философ, не поэт, не ученый. Но теперь ему некогда бояться и нечего стесняться...

Сам того не замечая, он начинает писать на родном языке — ведь думает он всегда только на нем. И к тому же это их общий с Филоменой язык. Язык их детской дружбы и юношеской любви, язык их трудной и долгой жизни, их уступок и ссор, обид и прощений, скорбей и радостей, язык, которым они говорили об истине, обретенной ими во Христе...

В тот день Кирион написал:

«Зачем Богу нужны наши страдания? Вчера я знал ответ: Он хочет испытать нашу верность, увидеть — достойны ли мы войти в Его Царство. Наш мир, ставший новым Содомом, обречен на скорую гибель, чтобы затем, подобно новому Иерусалиму, возродиться очищенным. И в том будущем мире Господь уже не потерпит никакой нечистоты.

Я, пишущий эти строки Кирион, сын лодочника Пелея, полвека назад принял на острове Патмос святое крещение от Иисусова ученика — геронды Иоанна,

желая, чтобы вся моя жизнь стала одним непреклонным следованием за Христом. Я знал, что придется пройти через страдания, но готов был приветствовать их как вехи на пути к спасению, проложенном для меня Господом. И потому никакие испытания не могли утратить меня.

Так было до нынешнего дня, когда я понял, что по своей духовной слепоте готовился принять лишь собственные муки, хотя рядом со мной тем же путем шли мои близкие. Но узнав об участи, ожидающей нас, — о том, что мы должны быть растерзаны львами для увеселения тирана, — я осознал, что увидеть мучения близких будет выше моих сил. Это вырвалось из глубины моего сердца подобно пламени и вмиг сожгло любую возможность смириться с таким жребием — даже если он брошен рукою Самого Господа.

И вот, видимо, таков предел моей веры, которую я дерзко полагал беспредельной. И таков крах моей жизни, пришедшей ныне к малодушию и неверию...»

1 МАРТА. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИВАН

В больничной церкви — вечерняя служба. Отец Глеб кадит в алтаре и с амвона. Прихожан — человек десять, в основном женщины с заплаканными глазами — мамы больных детей. Самых детей нет. Если их и приводят в храм, то лишь на причастие. Мужчин сегодня двое. Один всю службу стоит на коленях, не плачет, не крестится, только сгибается все ниже в бесконечно медленном поклоне. Другого я знаю, это доктор Зорин, старший анестезиолог. Раза два я видел его в коридоре

хосписа осажденным родителями. Видел, как одна женщина вцепилась в лацканы его халата, а Зорин отворачивался, будто от нее скверно пахло, и монотонно твердил: «Нельзя. Нельзя больше дозу». Наверное, из врачей ему здесь тяжелее всех. Другие врачи зовут его Завболь.

Женщин в черных платках сегодня в церкви нет. Значит, молимся о живых.

Я остался на вечерню и чин прощения по просьбе отца Глеба. Он страшно увлечен Кирионом и его рукописями. Сказал, что продолжим разговор после службы. Да и я был рад отсрочить обратный путь по коридорам хосписа...

Внутреннее пространство маленькой больничной церкви выглядит странно: храм несоразмерно высок и похож на уходящий вверх тоннель. Три яруса колонн напоминают натянутые жилы. Будто какая-то сила тащит церковь вверх, хочет вырвать из земли, а каменная плоть противится. Эту церковь делает похожей на православный храм лишь невысокий иконостас, отгораживающий алтарь. Все остальное здесь — чужое, готическое. Узкие окна на уровне третьего яруса освещают верхний свод — пустой, без росписи. До нижней части храма дневной свет доходит лишь по прихоти погоды. Если на улице солнце, сюда может пробиться случайный луч. А в пасмурный день свет едва сочится. Сейчас он пульсирует под сводом нервными сполохами — должно быть, снаружи продолжается солнечно-метельная круговерть. В меняющемся освещении кажется, что огоньки свечей то бледнеют и чахнут, то вновь разгораются ярче.

Ни в одной церкви я не видел такой службы, как здесь. Отец Глеб служит один — без дьякона, без алтарника, без хора. По этому поводу он как-то сказал

с печальной улыбкой: «Сам читаю, сам пою, сам кадило подаю. Зато уверен, что никто не собьется». Только на литургии в храм приходит пожилая медсестра, чтобы пропеть «Херувимскую». Во время службы отец Глеб уходит в себя, говорит и поет, закрыв глаза или глядя вверх, но каждое слово доносит ясно, звучно, словно перебирает голосом звонкие четки. В его одиноком и как будто отрешенном служении по-особому видна красота церковнославянского языка; и я благодарен ему за то, что он никогда не путается в словах, не ошибается с ударениями и падежами, не глотает странные для современного уха окончания слов. А вот его проповеди кажутся мне суховатыми, даже формальными — немногословные и безупречно благочестивые комментарии к евангельским текстам. При этом я заметил, что в проповедях он старательно избегает любых наставлений. Зато во время исповедей и бесед отец Глеб преображается. Несколько раз я ждал его, сидя на лавке у стены или стоя в притворе. Я не мог слышать слов, но тихий гул его голоса, его взгляд, его руки, которыми он не стеснялся обнимать собеседников, останавливали рыдания, оживляли окаменевшие лица...

А сегодня я впервые вижу его другим. Он волнуется, запинаясь, на середине короткой молитвы перед чином прощения с минуту стоит молча, растерянно смотрит на прихожан, будто ждет подсказки. Потом встает на колени, склоняется в земном поклоне и, поднявшись, тихо, медленно говорит:

— Простите меня... Я так мало могу сделать для вас. Мое сочувствие, даже самое искреннее, так мало дает... Как смею утверждать, что я — бездетный монах — понимаю и разделяю вашу боль! Никакого сострадания не хватит, чтобы судить о ней со стороны... Дорогие мои, сегодня мы должны простить обидевших нас,



простить причинивших нам зло. Нелегко бывает справиться с обидой на ближнего. Но во сто крат труднее унять обиду на Бога. Почему Он не может защитить ваших детей? Почему заставляет вас выносить невыносимое? Я не знаю. И в этом незнании — моя вина. Ведь чтобы простить, нужно понять. А как понять Бога, попускающего такие страдания? У меня нет ответа — простите... Я только одно могу сделать — поделиться с вами своей верой в то, что боль ваших детей и ваша боль — не бессмысленны, не напрасны... Эта вера — самое большое, самое главное, что у меня есть... Я знаю, у вас бывают минуты, когда кажется, что Господь оставил вас. Но это не так. Я чувствую всем сердцем: Господь — рядом с каждым из вас, рядом с каждым из ваших детей. В этом горе и страдании Он ближе к вам, чем к другим — здоровым и счастливым. Каждый день я молю Его, чтобы дал вам сил, чтобы помог ощутить Его близость, Его сострадание... И даже — Его мольбу о прощении...

Я ждал, что после службы родители, как всегда, выстроятся в очередь на беседу к отцу Глебу. Но сегодня все тихо, молча расходятся. Остается только доктор Зорин. Кажется, просит об исповеди.

Я ухожу в притвор, чтобы никого не смущать, пристраиваюсь в узкой нише, где можно сидеть. Я чувствую себя усталым, тяжелым, сонным. Но для меня это хорошее состояние, оно притупляет мою вечную тревогу, перемешивает мысли, превращает их в серый бессмысленный хаос. Если повезет, то из этого хаоса не будут выскакивать острые, болезненные вопросы, заставляющие вздрагивать и просыпаться: «Что дальше?», «Кто ты в свои тридцать семь?», «Кому ты нужен?..», Хаос — прекрасное протосостояние мира.

В нем не было ни форм, ни вещей, ни имен, ни личностей, ни долга, ни тревоги, ни боли, ни зла... Радости и добра тоже не было. Ну и что? Зачем они, если за них всегда приходится жестоко расплачиваться?.. Все хотят обратно — в теплую, темную утробу хаоса. Все помнят о ней на самом глубоком, неистребимом, нестираемом уровне генетической памяти. И до сих пор переживают родовую травму человечества, до сих пор ужасаются и негодуют: зачем нас исторгли из этой утробы! Зачем ослепили светом, пронзили мучительно громкими звуками, искололи тревожными мыслями, бросили голыми и незащитными перед всеильным злом! Зачем сделали заложниками страха перед неизвестным, непредсказуемым будущим! Зачем терзают вечной необходимостью делать выбор и принимать решения, а потом дают виной за все, что мы сделали не так!.. Верните нас обратно — в блаженное бессмыслие и бессилие. Верните в безмятежность и безгрешность! Там, в предвечном хаосе, мы были растворены вместе с Богом и, значит, были едины с Ним... И зачем только нас разлучили!..

Я устраиваюсь удобнее, сую руки в рукава пальто, как в муфту, и, не стесняясь, засыпаю в полутемном притворе, в укромной нише. Странно: каменная кладка здесь кажется теплой, будто где-то рядом, за стеной, топится печь...

По притвору пролетает сквозняк. Открыв глаза, успеваю заметить быструю тень, скользнувшую в церковные двери, миновавшую притвор и вбежавшую в храм. В неровном свете, льющемся из верхних окон, тень становится щуплой женской фигуркой в сером свитере и джинсах. На секунду женщина замирает, осматриваясь. Потом стремительно идет туда, где склонились

друг к другу отец Глеб и доктор Зорин... Выбравшись из своей ниши, я заглядываю в храм. Вижу, как Зорин оборачивается и в ту же секунду получает звонкую пощечину. Женщина снова размахивается и бьет. Зорин пытается закрыться рукой, отшатывается, валит аналой с крестом и Евангелием. И пока отец Глеб в растерянности подбирает их, женщина успевает ударить Зорина ногой. Наконец отец Глеб встает между Зориным и женщиной, сгребает ее в охапку, тащит из храма.

И тут женщина начинает кричать.

— Тварь! — орет она Зорину через плечо отца Глеба. — Скот! Подонок!..

Прежде чем отец Глеб выталкивает ее вон, она успевает выкрикнуть еще несколько оскорблений — обычных и матерных... Пожалуй, мата в церкви я раньше не слышал... Отец Глеб затворяет дверь, с лязгом опускает железную щеколду. Взглянув на меня, он изумленно пожимает плечами, показывая, что ошарашен не меньше моего. Потом возвращается в храм, где на ступеньке соли сидит Зорин и трет ушибленное колено — кажется, удар оказался болезненным.

А я, сам не знаю почему, открываю дверь в коридор и смотрю вслед удаляющейся женщине. Она идет прочь, ссутулившись, подняв острые плечи и обхватив себя руками, в каком-то болезненном оцепенении. Услышав скрип дверных петель, она оборачивается и видит меня. Я не сразу могу понять выражение ее лица. На нем еще осталась гримаса гнева, но уже проступает и другое — сожаление, стыд и еще — такая печаль, такое отчаяние, какие редко увидишь даже здесь, в этих коридорах. Женщина сокрушенно качает головой, будто хочет что-то сказать, объяснить. Но молча отворачивается и уходит. Хвостик светлых волос торчит над ее сгорбленной спиной. Смотрю, как

она исчезает за углом, и думаю, что, наверное, это одна из тех несчастных матерей, которые требуют от Зорина невозможного... Но, когда мы возвращаемся в ризницу, отец Глеб говорит, что она — здешняя медсестра по имени Вероника. Причину ее гнева отец Глеб не знает. А вот Зорин, похоже, в курсе, за что ему надавали тумаков. Из церкви он ушел подавленный, не проронив ни слова.

Об этой Веронике в хосписе говорят разное. Главным образом — про ее скверный характер и высокомерие. Но отец Глеб не раз слышал, что она умеет по-особому ладить с детьми, может успокоить и ободрить, как никто другой, что она придумала какую-то игру, отвлекающую детей от страха перед болью и даже от самой боли...

В ризнице отец Глеб вешает облачение на место, пристраивает на полке клобук и опять, как утром, садится напротив меня. Какое-то время сидим молча.

В узком окне ризницы — оранжевые отсветы заката. К вечеру небо очистилось, и стало понятно, что день заметно прибавился. Значит, я пережил еще одну зиму. Помогла работа и, наверное, встречи с отцом Глебом — даже такие, отравленные моим страхом.

Отец Глеб тоже смотрит в окно, думает о чем-то. Я жду, что мы вернемся к рукописи Кириона, но отец Глеб начинает говорить о другом:

— Иван Николаевич (наверное, он первый в моей жизни, кто зовет меня по имени-отчеству), я хочу и у вас просить прощения... Я вижу, как тяжело вам дается каждый приход сюда. Наверное, я кажусь вам жестоким, раз заставляю вас переживать это раз за разом. Но вот в чем дело... Если бы мы встречались где-то в другом месте, то наше общение свелось бы только

к древним текстам. Конечно, это важно и интересно, и я, поверьте, ценю ваш талант переводчика... Но я бы хотел, чтоб вы стали ближе к жизни этого хосписа. Зачем? Потому что вы можете помочь.

Несколько секунд отец Глеб пристально смотрит на меня... Помочь? Да какой от меня прок! Я и с собой-то едва справляюсь.

Отец Глеб видит мое смятение и мягко, доверительно говорит:

— Давайте я вам все расскажу, а вы уж сами решите... Наверное, вы следите за новостями и знаете, что СГД наконец признали пандемией. Реальные цифры заболевших скрывают, но в любом случае речь идет о миллионах страдающих, умирающих, безнадежных детей. Хосписы и больницы переполнены, бюджеты, выделенные на это, должны быть в десятки раз больше. А тут еще нарастает всемирная истерия, ходят слухи про убийц-генетиков, выпустивших из пробирки какой-то мифический триггер СГД. Повсюду угроза бунтов и войн, паника на биржах... И вот на фоне всего этого у наших властей зреет решение — закрыть хосписы, вернуть умирающих детей в семьи. В ближайшее время будет принят закон об СГД, суть которого: помощь страждущим — дело самих страждущих. Откуда мне это известно? Люди из правительства всегда ставят Патриархию в известность о важных решениях. Хотят, чтобы Церковь поддакивала или хотя бы молчала, даже если эти решения бесчеловечны. Думаю, молчание будет обеспечено и на этот раз... Поверьте, у нас, у духовенства, повиновение строже, чем в любой организации. Оно, можно сказать, в крови...

Отец Глеб замолкает, прижимает к губам сжатый кулак, будто хочет остановить готовые вырваться резкие слова.

— Но, может быть, в своих семьях, в своих домах детям будет лучше? — осторожно говорю я.

Он качает головой:

— Вы не понимаете. Обезболивание при СГД — невероятно сложное дело. Здесь идет борьба не с болезнью, а с самой болью. Обычные лекарства не могут облегчить ее. Препараты на основе морфина хоть как-то помогают, но это наркотики. Если обеспечить ими всех детей, больных СГД, наркотики окажутся в свободном доступе. Да и не смогут родители сами применять такие мощные средства без риска смертельной передозировки. И что будет в реальности? Родителям предложат облегчать боль детей анальгином.

Отец Глеб сцепляет пальцы и сжимает так, что белеют костяшки.

— Политика, экономика, бюджеты... Кому-то это кажется важным — по инерции. Но сейчас это должно отойти на десятый план. Что политика! Что бюджеты! Никогда еще человечество не стояло перед моральным выбором такой остроты. Забыть алчность, вражду, амбиции и бросить все силы на облегчение страданий детей. Или махнуть рукой на это бессмысленное дело — все равно ведь они умрут!.. Возможно, когда-нибудь люди найдут лекарство от СГД, но мир, предавший своих детей, будет отравлен собственной низостью, станет непригодным для жизни, как после атомной войны. Представляете — сколько в нем будет озлобленных, выжженных горем людей — родителей, которых мы предали и бросили в *такой* беде!.. Предали! — с горечью повторяет отец Глеб. — Говорят, Господь посылает человеку лишь те испытания, которые ему по силам. Но сейчас Он как будто решил, что мир населяют великие праведники, титаны духа. А это обычные люди. В большинстве — даже неверующие,

не воцерковленные. Мы не успели, не сумели насытить их верой такой утешительной силы, которая помогает все принимать пусть не с благодарностью, но хотя бы со смирением. И, выходит, предали их, оставили беззащитными... Кто может заглянуть в душу человеку, когда страдает его ребенок — день за днем, ночь за ночью, все страшнее, все безысходнее? И вот человек поднимает глаза от постели, где лежит этот... уже не его ребенок, а полуживой сгусток боли. Поднимает глаза и говорит, может быть впервые обращаясь к Богу: «Господи, зачем Ты его мучаешь? За что? Какой в этом смысл?» И не слышит ответа... Но когда людям посылается *такая* боль, разве это не дает им право задавать самые болезненные вопросы, кричать их туда — вверх? Пусть мы не слышим или не понимаем ответов, пусть по нашему скудоумию нам не дано постичь высший замысел. Но если и вопросы нельзя задавать, если остается только молчать и терпеть — тут уж какая-то степень жестокости, несовместимая...

Отец Глеб снова замолкает, словно не решается продолжать.

— Несовместимая с верой? — я невольно перехожу на шепот, будто кто-то может нас подслушать.

— Не просто с верой, — говорит отец Глеб. — С жизнью это несовместимо. С желанием жить.

— Но сколько можно продержаться вот так, без ответов? — говорю я. — И как вы сам держитесь?.. Сегодня вы говорили о вере и о Христе, который страдает рядом с каждым... Неужели вы просто... Как положено священнику... Просто сказали то, что должны были сказать?

— Нет! — резко отвечает отец Глеб. — Нет! Как вы могли подумать!.. Уж на этом «как положено» точно не продержишься!

Меня окатывает горячей волной стыда. Что я ляпнул, дурак! Он мне открылся, а я обвиняю его в лукавстве! Не мог он лукавить, не мог притворяться перед этими людьми!..

— Простите, — бормочу я. — Теперь вы меня простите!.. Все это так страшно. Что же будет? Что теперь будет со всеми?..

Отец Глеб долго молчит. В ризнице уже почти темно. Только лампада мерцает перед Отроком Иисусом.

— Не знаю, — наконец говорит отец Глеб. — Сомнение в милосердии Господа — разрушительно. А сейчас этим сомнением охвачен весь мир. Знаете, временами кажется, что мир стоит на грани всеобщего отречения, вселенского крушения веры. Мир разъедаем страшным соблазном — видеть в Боге кровожадное чудовище, смешать Бога с дьяволом, Христа — с антихристом. Это и есть самое разрушительное оружие темных сил. Именно поэтому меня так ужаснуло сегодня это место из рукописи Кириона — о Боге, питающемся нашими страданиями. Это как будто... Как будто древний сосуд со страшным ядом, извлеченный на свет как раз тогда, когда у человечества почти не осталось иммунитета против лживой языческой идеи о «богодьяволе», почти не осталось веры в то, что Бог есть любовь... Кажется, еще немного — и шанса возродить эту веру уже не будет...

Отец Глеб встает, щелкает выключателем. Я зажмуриваюсь, заслоняюсь рукой от лампы под потолком. Когда глаза привыкают к свету, я вижу перед собой прежнего отца Глеба — спокойного и собранного.

— Иван Николаевич, все, о чем мы говорили шепотом и в темноте, нужно сказать во весь голос. Я хочу попросить вас составить обращение. С такими, знаете, словами, чтобы без пафоса, без моралистики, но чтобы



стало горько и страшно. И чтобы было понятно: если сейчас не будем бороться всем миром — пусть бессмысленно, пусть безнадежно, то потеряем право называться людьми, повесим на себя такой грех, который вовек не искупить... Я не умею писать, как вы. Могу сказать более-менее складно. Но вот это самое «как положено» въелось еще в семинарии, не дает добиться нужной простоты, сковывает каким-то... не знаю... клерикальным стилем, что ли. А тут надо обратиться ко всем — не только к православным, не только к верующим.

Через минуту я понимаю, что молчу слишком долго. Но, взглянув на отца Глеба, вижу, что он готов ждать еще.

— Не знаю... Можно попробовать... А куда пойдет это обращение?

Отец Глеб отвечает не сразу. Выпрямившись на стуле, поправляет пояс на подряснике, уклончиво говорит:

— Я найду возможность опубликовать его... Впрочем... — он на секунду останавливается. — Впрочем, вы должны знать, ведь я прошу вас о помощи. В общем, так. У меня есть редакторский доступ к сайту Патриархии. Долго там это обращение не продержится, но разлететься по интернету успеет. И тогда наши иерархи уже не смогут отмолчаться... Кроме того, я знаю неравнодушных людей в зарубежных епархиях, у них тоже есть сайты. И там не все скованы покорностью...

Теперь уже я выпрямляюсь на стуле, изумленно смотрю на отца Глеба.

— Но это же... Вы понимаете...

— Да уж как не понять, — вздыхает отец Глеб. — Это бунт. А бунтовщиков и еретиков принято сжигать на площадях... Но вы не думайте, — вдруг спохватывается он, — ваше участие никак не...

— Зачем вы так! — вырывается у меня почти грубо. — Не в этом же дело!.. В конце концов, мне-то чего бояться! По сравнению с тем, чем рискуете вы...

— Ну, хорошо-хорошо, — мягко говорит он. — Простите, не хотел вас задеть... Если вы согласны, может быть, начнете прямо сейчас? Большой текст ни к чему, нужно всего три-четыре абзаца. Но таких... Таких, чтобы на них все обернулись, как на крик...

— На крик боли...

— Да, именно! — энергично кивает отец Глеб. — Вот вы уже и нашли ключевое слово... Сейчас я включу ноутбук...

— Не надо, — говорю я. — Лучше дайте бумагу и ручку. Мне удобнее от руки.

Отец Глеб достает с полки большой блокнот.

— Извините, Иван Николаевич, стола у меня нет...

— Ничего, нормально. — Я беру блокнот из его руки. — Я и дома часто работаю на коленке...

— В это время я обычно делаю обход по хоспису, — говорит отец Глеб, — навещаю детей и родителей. А то скоро закончатся часы посещения и родителей начнут выгонять. — Отец Глеб надевает поверх подрясника черную шерстяную безрукавку и идет к двери. — Так что оставляю вас на час-полтора. Дождетесь меня?..

— Что?.. — Я уже раскрыл блокнот и думаю над первой фразой. — А, да-да, конечно...

Через полчаса, когда текст почти готов, понимаю, что уже сварился в своем пальто, и наконец догадываюсь его снять. Нахожу на стене гвоздь и водружаю пальто на него... Вдруг слышу — за дверью кто-то плачет или вроде как скулит... Только сейчас понимаю, что эти звуки просачиваются в ризницу давно, но я не замечал их, уйдя в работу. Во мне снова шевелится страх.

А если там кто-то из детей и ему плохо? С минуту сижу не шевелясь. Плач то затихает, то слышится опять. Да и плач ли? Как будто не похоже на человеческий голос... Решаюсь все-таки выглянуть из ризницы. В притворе темно, и в первый момент я никого не замечаю. Открываю дверь шире и в полосе света вижу скрюченную фигурку в голубой медицинской робе — какая-то женщина сидит у стены, подтянув ноги к груди. Ее лоб прижат к коленям, так что лица не вижу. Осторожно подхожу, касаюсь ее плеча:

— Что с вами?

Она не реагирует, только покачивается, ударяясь спиной о стену, и стонет... И зачем я вышел? Что мне за дело до этой женщины? Может, что-то личное у нее... Поплачет и уйдет. Или отец Глеб вернется и поговорит с ней... В этот момент она поднимает голову. Я невольно отшатываюсь. Ее лицо перекошено, глаза смотрят со дна двух черных ям, зубы вцепились в воротник... И тут я понимаю, что это та самая женщина, которая напала сегодня на доктора Зорина.

Вспоминаю ее имя и говорю:

— Вероника, что с вами? Вам плохо? Я позову кого-нибудь...

Она разжимает зубы. Воротник робы вываливается изо рта, за ним тянется нитка слюны.

— Нет, — говорит она сдавленно. — Не надо. Пройдет... — И тут же стонет громче, почти кричит, хватается за живот, валится на пол и остается лежать скорчившись.

Сижу рядом на корточках, пытаюсь сообразить — как быть, кого звать на помощь? Отца Глеба? Значит, идти и искать его по палатам? Нет, невозможно! Просто выйти в коридор и закричать: «Эй, кто-нибудь, помогите, человеку плохо!»

Встаю, делаю шаг к выходу, но Вероника обеими руками хватает меня за ноги, да так цепко, что не могу двинуться с места. Больная? Припадочная?

— Нет, стой! — мычит она. — Никого не нужно! Сейчас пройдет!

Мне ужасно неловко — она обнимает мои ноги, тычется лицом в ботинки... Сажусь на пол рядом с ней, касаюсь ее, хочу как-то успокоить. Короткий рукав рубы задрался, у меня под ладонью ее плечо — холодное, покрытое острыми бугорками гусиной кожи.

— Не уходи... Сейчас... Просто никак... Никак не могу отключиться...

Бредит?..

Вдруг она разом обмякает, вытягивается на полу ничком, уткнув лицо в ладони, и так лежит минуту, другую. Потом встает на колени, но руки от лица не отнимает.

— Всё, — глухо говорит она из-под ладоней. — Всё. Умер...

— Кто умер? О чем вы?..

Она опускает руки, смотрит на меня.

— Странно получилось, — медленно говорит она, — устроила тут представление. Даже два: и сейчас, и тогда — с Зориным. Ведь это ты был здесь и все видел. Наверное, думаешь, я ненормальная? Нет. Просто у меня сегодня все плохо... А сейчас я боялась, что ты побежишь кого-нибудь звать.

— Но у вас был какой-то приступ, вам нужна помощь.

Вероника долго, внимательно смотрит на меня. Лицо у нее уже спокойное, но очень усталое — худое, с острым подбородком. Верхняя губа по-детски вздернутая, капризная, будто не ее.

— Ничего страшного, — говорит она, — у меня бывает. Просто сегодня сильнее, чем обычно. Но все уже прошло.

Она поднимает руки, будто хочет поправить растрепавшиеся волосы. Пальцы у нее тонкие, бледные, руки дрожат. Так и не притронувшись к волосам, она опускает руки.

— Совсем не помню, как бежала сюда, — говорит она. — И почему опять — в церковь?.. Должно быть, думала, что тут никого нет... А ты что, ходишь сюда к священнику? Служишь с ним в церкви?

— Да нет. Я переводчик. Он дает мне старинные рукописи, я перевожу.

— А... — рассеянно говорит Вероника. — Ясно...

Долго сидим молча. Потом Вероника лезет в карман и достает три кусочка сахара. Два кладет в рот, а над третьим задумывается.

— Хочешь? — спрашивает она. Сахар лежит у нее на ладони. — Возьми. Глюкоза...

Я механически беру сахар и отправляю в рот. Приторный кубик сразу размокает, рассыпается. Вообще-то не люблю сладкое, даже кофе пью без сахара...

— Ладно, — говорит Вероника со слабой улыбкой. — Хорошего понемножку. Надо идти...

Она хочет встать, но, чуть приподнявшись, садится на пол.

— Ноги еще не очень... Поможешь?

Я вскакиваю, топчусь перед ней, хочу схватить за плечи.

— Ох, да не так, — с досадой говорит она. — Обними и поставь, как куклу.

Я обнимаю ее под мышками, обхватываю худую спину, а она держит меня за шею, и мы встаем. Я совсем не силач, но Вероника удивительно легкая...

— Вот так, — говорит она. — Теперь правильно. Надо бы тебе на курсы санитаров...

Еще несколько секунд мы стоим приобнявшись, как танцевальная пара в ожидании музыки. Потом Вероника отпускает мою шею, поворачивается и идет к выходу, осторожно ступая и держась за стену. Уже подойдя к дверям, она оглядывается:

— Ну... До новых встреч, что ли?..

Отец Глеб читает мой текст, бросает на меня короткие взгляды. Не могу понять — нравится ему или нет.

— Да, — говорит он наконец. — По-моему, замечательно. Я сейчас даже не вижу, что здесь можно улучшить. Ваше умение ухватить самую суть — редкий дар... И еще я изумлен вашим почерком. В те времена, когда книги переписывали от руки, вы бы процветали.

Я знаю свою способность быстро краснеть и стесняюсь ее. Вот и сейчас чувствую, как лицо заливают горячей краской. Снимаю очки, начинаю протирать их фланелькой, извлеченной из кармана.

— Ну что же, рад, что мне удалось... А почерк... Он у меня с детства аккуратный. Я научился писать года в четыре и был совершенно заморожен этим волшебством — что из каких-то закорючек вдруг получается слово и обретает смысл. А стоит чуть-чуть закорючки переставить — и уже совсем другое, и даже противоположное. Вот, допустим, «любить». Раз-раз — и уже «убить»... Знаете, у меня никогда не было ни конструкторов, ни пазлов, я не собирал ни марки, ни монеты. Мне было достаточно тридцати трех кружков, палочек и закорючек, из которых можно создать целый мир и даже много миров. Потом я узнал, что букв в нашем языке когда-то было больше тридцати трех, и падежей — больше шести, и слова были другие. Я с голо-

вой ушел в старославянский, и мне казалось, что через утраченные слова, через забытую музыку этого языка я слышу и вижу прошлое. Не такое, как в учебниках истории, а настоящее, живое, каким его видели и чувствовали реальные люди — три, пять, десять веков назад... Простите, отец Глеб. Кажется, я увлекся, отнимаю ваше время...

— Нет-нет, Иван Николаевич, — горячо возражает отец Глеб. — Эта тема мне страшно близка! Ах, если б вы знали, как остро я чувствую недостаток нужных слов в современном языке, чтобы сказать об утешении и спасении, которыми жило раннее христианство, как хочу вернуться к этим чистым истокам!.. Ведь *что* происходило с христианством двадцать веков? Каждая эпоха втискивала нашу веру, втискивала самого Христа в прокрустово ложе своих потребностей — властных, политических, военных, меркантильных... И все это отражалось в языках, которыми говорила Церковь, точнее — многие Церкви, дробящиеся, разобщающиеся, делящие Христа, как палачи делили Его одежду. И даже сами слова молитв становились предметами раздора — по ним опознавали духовных врагов. За них преследовали, казнили, уничтожали — да не отдельных нечестивцев, а целые народы!.. Поверьте, Иван Николаевич, я искренне убежден, что православие ближе всего к первоначальному христианству и, может быть, менее искажено человеческой греховностью. Но и в нашей Церкви я вижу следы губительной прокрустовой работы... Вы ведь знаете: первое имя нашего Господа — Логос, то есть Слово. А главное Его дело — проповедь, убеждение, вразумление, а если требуется — и обличение. И все это заповедано нам на все времена, пока не исправится мир... Но как же случилось, что Слово заменили для

православных молчанием, возведя покорное безмолвие в ранг добродетели?..

Отец Глеб поднимает руку с листками моего текста.

— Вот! Если это не прозвучит на всю страну, то как я смогу убеждать этих несчастных родителей, что Господь не оставляет их? Как свяжется моя проповедь с тем, что сам я стою в стороне и отмалчиваюсь?.. Знаете, сегодня вечером у меня был очень трудный разговор. Здесь есть один особенный мальчик. Он как росток, который из последних сил тянется к свету. Удивительный ребенок. Каждую ночь он видит во сне ангела, говорит с ним и верит, что ангел помогает ему справиться с болью. Он так ясно его представляет, что изрисовал целый блокнот его «портретами». И вот сегодня этот мальчик, Алеша, рассказывал мне о своей недавней встрече с ангелом и при этом плакал так горько, что я не мог его утешить. Оказывается, ангел прошлой ночью открыл ему чудесное слово, избавляющее от боли, — странное, ни на что не похожее слово на неизвестном языке. Алеша считает, что это слово из ангельского языка. И вот он все время помнил его, пока спал, и повторял во сне. Но когда проснулся, забыл!.. Знаете, о чем он сокрушался, этот удивительный мальчик? О том, что мог бы научить этому слову всех в нашем хосписе, всех больных детей, всех людей на свете. И люди победили бы боль раз и навсегда. И вот ангел доверил ему такую великую ценность, а он не удержал ее, не донес, потерял... И я подумал — вот как надо относиться к ценности слова!..

Пока мы обсуждали нашу работу, я совсем позабыл, где я. Но стоило отцу Глебу заговорить про этого мальчика, меня сразу бросило в дрожь. Я все вспомнил: сижу в утлом челноке посреди моря страданий. И мне еще надо будет переплыть это море, пройти мимо дю-



жины страшных дверей, за каждой из которых — невыносимое!

...Уже стою у выхода из церкви, собираюсь с духом. Отец Глеб проводил меня в притвор. Чувствую, что он хочет сказать что-то еще.

— Давно собираюсь вас спросить... Вы в храме какой-то неприкаянный, потерянный... Как же так, Иван Николаевич? Вы ведь говорили, ваш отец — священник?

Ох! Вот этого мне совсем не хочется касаться. Отвечаю уклончиво:

— Да, верно... Он был священником, но отрекся от сана.

— Почему?

— Из-за пьянства. Стал алкоголиком и не мог больше служить... Я вам не все сказал при первой встрече...

Отец Глеб смотрит сочувственно. Но, к счастью, не продолжает эту тему. На прощание он ободряюще улыбается мне и кивает. В едва заметном движении его руки угадываю намерение перекрестить меня. Но он этого не делает. И хорошо, что не делает, — мне и так не по себе.

Крадусь по коридору перебежками. Миную одну дверь за другой. К моему ужасу, все они открыты — наверное, для проветривания или, может быть, для того, чтобы дежурная сестра, сидящая в другом конце коридора, услышала стоны из палат.

«Эй, пошел, ящик!...» — «Нет мочи:

Коням, барин, тяжело...

Палаты внутри освещены синими ночными лампами... И кто только придумал в больницах этот потусто-

ронний зловещий свет!.. Вот и узкая дверца в уборщицкую каморку, где я спасался днем. Может быть, и сейчас заскочить туда, отдышаться, собраться с силами?.. Нет! Я там застряну и вообще не решусь идти дальше. Если бы я знал, что все двери будут открыты! Вот кто-то кряхтит, вот, кажется, стонет...

Вижу: духи собралися  
Средь белеющих равнин...

Ноги слабеют, не идут — как во сне, когда хочешь бежать и не можешь... Вот та дверь, за которой сегодня кричал ребенок, но она почему-то закрыта... Боже! Дай сил отвернуться от этих проклятых дверей, смотреть вперед, как лошадь в шорах, смотреть на спасительный выход...

Последние шаги к двери приемного покоя. Лихорадочно ищю в кармане магнитный пропуск, прикладываю к желтому огоньку замка. Сейчас пропищит, и... И что?.. Почему не открывается? Так, еще раз! Нет, не работает. Сломался замок? Сломался мой пропуск? В отчаянии оглядываюсь на бесконечную серую кишку коридора... Вернуться в храм?.. Господи, что делать?.. Скрипит, открываясь, *та самая* дверь. Зажмуриваюсь, но и зажмурившись, еще яснее вижу, как оттуда выползает в коридор *то самое* бесполое существо в длинной рубахе. Выползает без крика, без звука, но так — еще страшнее... Стою, прижавшись спиной к двери, не выпускающей меня, и слышу, как приближаются шаги...

— Так-так. Не зря я говорила «до новых встреч»... Ну и чего ты тут целый день ошиваешься?

Открываю глаза. Передо мной Вероника. Но уже не в больничной робе, а в сером свитере и джинсах. Смотрит удивленно.

— Эй! Чего такой бледный? Плохо, что ли?

— Дверь, — бормочу я, — дверь не открывается.

— И не откроется. В двадцать три ноль-ноль эта дверь блокируется. Ты что, не знал?

— Нет... Я никогда не уходил так поздно.

— Ну и? Какие проблемы? Иди через главный вход. Охрана выпустит.

— Нет! — вырывается у меня. — Туда нельзя!..

Вероника смотрит удивленно, но больше ни о чем не спрашивает. Вдруг ее лицо оживает.

— Слушай, я знаю, как выйти через подвал. Могу проводить.

— Это далеко? — с сомнением говорю я.

— Да нет, рядом. Идем?

Неподалеку от двери приемного покоя вбок отходит короткая галерейка. Видно, что через несколько метров она заканчивается тупиком. Но Вероника направляется именно туда. Иду за ней в оцепенении. Там в боковой стене — неприметная железная дверь, вся в разводах ржавчины. Похоже, ее не открывали лет сто. Вероника останавливается и, встав на цыпочки, шарит над притолокой, находит ключ. Замок открывается легко, с тихим щелчком. За дверью кованая лестница спиралью уходит вниз, в темноту.

Вероника светит перед собой телефоном и начинает спускаться, потом оборачивается и командует:

— Дверь за собой закрой поплотнее.

Я с силой тяну дверь и покорно спускаюсь за Вероникой. Мне уже все равно, я слишком устал от этого бесконечного дня. И страх мой тоже устал, притупился. Но я знаю его подлые повадки, его манеру выжидать и набрасываться. Сколько я от него натерпелся! Сколько раз он унижал меня, сколько важного я упустил из-за него!..

В бледном свечении сквозь решетчатые ступени я вижу внизу призрачную фигуру Вероники... И вдруг у меня внутри, на том месте, где только что дрожал и сжимался страх, робко шевелится другое, почти забытое чувство — любопытство. Любопытство не к истлевшим рукописям, а к чьей-то живой жизни и живой тайне. В странном месте я спускаюсь в темноту за странной женщиной, открывшейся мне сегодня с каких-то странных сторон, показавшей странные кусочки своей жизни... А женщины для меня вообще самое загадочное, что только есть на свете, что-то очень далекое, непостижимое. В последний раз я говорил с женщиной, наверное, года три назад... То есть я, конечно, разговариваю время от времени с кассиршами в магазинах, и с врачами в поликлинике, и с квартирной хозяйкой... Но по-настоящему *говори*л я с женщиной давным-давно — в тот раз, когда, уходя, услышал за спиной шепот: «Трус, патологический трус!» Меня, помню, удивило, как она выговаривала это слово — «патологический», по слогам, будто диктовала кому-то безграмотному. В растерянности я даже хотел оглянуться. Но не оглянулся, конечно... С тех пор я все думаю: хотела она, чтобы я расслышал ее шепот? Наверное, хотела... Значит, это был не разговор, а просто горькие слова... Но я-то и так знаю свой разговор!

Лестница, казавшаяся бесконечной, опирается в каменный пол. Я жду, что здесь будет трудно дышать от подвальной сырости, но в подземелье чувствуется вольное движение воздуха, гуляют теплые сквозняки. Перед нами — широкая галерея. Плетусь следом за Вероникой, за слабым светом ее телефона, спотыкаюсь о неровные плиты пола. Вероника останавливается, оглядывается и светит мне под ноги, будто хочет что-

то показать. В замешательстве вижу под ногами имена и даты — пол выложен надгробьями!..

— В этом доме много странного, — говорит Вероника. — Но не думаю, что здесь настоящие могилы. Просто взяли плиты с какого-нибудь кладбища.

— Все равно, — растерянно говорю я, — значит, где-то рядом было кладбище...

— Боишься мертвецов?

Пытаюсь уловить в ее голосе насмешку, но, кажется, она просто спрашивает — серьезно и даже сочувственно. Я не знаю, что ответить, только слабо машу рукой — дескать, ничего, нормально...

— Ладно, идем! — Голос Вероники звучит уверенно. — Таких плит здесь немного. Дальше — обычный пол.

Мы поворачиваем направо. Новая галерея еще шире — потолок и стены теряются во мраке. Вероника идет вдоль правой стены. Свет выхватывает равномерно расположенные ниши, и в них — двери, двери. Это подземелье похоже на каземат. Вероника замедляет шаги и останавливается, словно в нерешительности. Хвостик ее светлых волос замирает над воротником свитера. Она заблудилась?.. Не оборачиваясь, Вероника говорит — будто кому-то другому, в темноту:

— Хочешь выпить?

— В каком смысле? — От неожиданности я замираю на полушаге.

— Да нет! — резко оборачивается Вероника. — Не подумай чего такого. Выпить — это просто выпить. — Она машет рукой с телефоном в сторону ближайшей ниши. — Здесь мое укромное место. Есть немного рома.

«Слушай, я сейчас не могу. Мне надо идти. Давай в другой раз. У меня срочная работа...»

Все это я хочу выпалить ей в лицо и поскорее вернуться отсюда. Ох, слишком много для одного дня!..

— Долго думаешь, — говорит Вероника. — Ничего страшного я не предлагаю.

Из меня вылезает дурацкий нервный смешок.

— Это трудно, — говорю я.

— Что трудно? Не поняла...

— Трудно предложить мне что-то нестрашное.

— Все равно не поняла... Это здесь...

Вероника входит в нишу, кладет руку на черную кованую дверь и начинает толкать. Ее рука кажется миниатюрной на фоне грубых железных заклепок. Дверь чуть приоткрывается, но больше не поддается.

— Чего стоишь? Давай!.. — сдавленно говорит Вероника, продолжая бороться с дверью.

Я упираю ладонь рядом с ее рукой, дверь с гулким скрежетом распахивается, и Вероника шагает в проем. Призрачный свет ее телефона уплывает во тьму, а потом и вовсе гаснет.

— Что здесь? — спрашиваю я, просто чтобы не молчать. — Похоже на лабиринт Минотавра.

Я не жду, что Вероника как-то отреагирует на мою неуклюжую попытку умничать, но она хмыкает и говорит с иронией:

— Ага, вот ты и догадался, зачем я тебя сюда заманила — скормить Минотавру.

В руке Вероники вспыхивает огонек зажигалки и перескакивает на две свечи, прилепленные на выступах каменной кладки.

В их желтом мерцании я вижу у стены полосатый пружинный матрас. Рядом с ним — пластмассовый ящик и холщовая сумка. На матрасе валяется книга, но ни автора, ни названия не разглядеть. В комнате боль-

ше нет ничего — только голые стены, переходящие в сводчатый потолок.

— Дом... — говорит Вероника, глядя вокруг.

— В смысле... тебе негде жить?

— Есть где. Но дом — здесь... Ладно. Это долгая история.

— А электричество тут есть? — спрашиваю я.

— Не знаю, я не нашла.

Вероника берет холщовую сумку, достает из нее бутылку. Под свечами жидкость в бутылке загорается янтарем.

— Ну, выпьем, что ли, раз я обещала. — Кажется, голос Вероники звучит виновато.

Она достает бумажный стаканчик и брезгливо осматривает его, держа двумя пальцами.

— Тьфу ты, раскис... Придется так...

С тихим скрипом Вероника вытаскивает пробку и протягивает бутылку мне:

— Давай...

Я снова теряюсь:

— Это... Сначала ты...

Вероника отпивает из горлышка совсем немного, вытирает губы рукой. Я опять удивляюсь, глядя на ее пальцы — какие они тонкие и хрупкие... Бутылка оказывается у меня. Делаю медленный, осторожный глоток. Жидкость обдаёт гортань терпким, дымным вкусом, щиплет язык и горло.

— Это не ром, — говорю я. — Виски. И, кажется, хорошее...

— А, все равно, я не разбираюсь, — отвечает Вероника. — Главное, что вкуснее водки. А вино я совсем не люблю.

Вероника садится на матрас, опирается о стену спиной и затылком, прикрывает глаза.

— Извини, я дико устала сегодня... А пить в одиночку не хотелось... Теперь лучше...

— А почему ты задержалась так поздно?..

— Да нет, не поздно. В полночь сменилась. А потом зашла поведать одного мальчишку, поговорить с ним. Он сегодня проплакал весь день, бедняга...

— Алеша? — говорю я.

— Ну да, Алеша. А ты откуда знаешь?

— Отец Глеб рассказывал. Говорил, что это какой-то удивительный ребенок.

— Да, — говорит Вероника, устало прикрыв глаза. — Удивительный... Все они — удивительные. Часто смотришь и думаешь, что любой взрослый на их месте давно бы сдался. А они как-то оживают после каждого приступа и даже, кажется, забывают, что будет следующий, а потом еще и еще...

Свечные огоньки трепещут, будто хотят взлететь. Потеки парафина под свечами оплели выступы кладки, как корни деревьев, примостившихся на скале.

— Скоро погаснут. — Вероника открывает глаза и смотрит на свечи. — От них почти ничего не осталось.

Потоптавшись с бутылкой в руке, я сажусь на пластмассовый ящик напротив Вероники, отдаю виски ей. Мы делаем еще по глотку, и я ставлю бутылку между нами.

— Сегодня у меня день рождения, — говорю я неожиданно для себя.

— День рождения? — Вероника оживляется. — Что ж ты молчишь? Вот и повод — еще по глоточку...

Мы снова пьем.

— И сколько тебе стукнуло?

— Тридцать семь.

— О-о, — тянет Вероника. — Серьезная цифра. Мне до этой цифры еще ковылять и ковылять!.. Целых три года...



Вспоминаю, что надо вежливо отреагировать, если женщина говорит о своем возрасте:

— Надо же! А выглядишь...

— Да ладно, — перебивает Вероника, — без тебя знаю, что выгляжу как малолетняя соплячка.

С минуту молчим. Крепкий дух виски клубится в голове теплым шаром.

— Как ты нашла этот подвал? — спрашиваю я.

— Нашла вот... Ключ от подвальной двери стащила у охраны, сделала дубль... Это моя страсть — полазить по старым домам. Мне даже часто снится, что я брожу, брожу по каким-то лестницам, залам, коридорам и так мне там интересно...

Вероника снимает резиновые сабо, в каких здесь ходят все врачи и сестры, ставит ноги в белых носках на матрас и обнимает колени руками. Мы опять молчим и смотрим на догорающие свечи. Через минуту они гаснут почти одновременно, беспомощно пыхнув на прощание. Вероника не двигается. Я тоже сижу неподвижно, молча. Тьма такая густая, что в ней чудится багровое свечение.

— Включить телефон? — Голос Вероники звучит тише, чем раньше.

— Не надо, — торопливо говорю я. — Мне лучше, когда темно.

— Лучше?..

— Ну да... Спокойнее...

В подвале тепло. Не вставая с ящика, я снимаю пальто, сваливаю его на пол у себя за спиной.

— Сколько себя помню, не боялся темноты. В детстве все время прятался в темных комнатах, в шкафах, в подвалах. Из-за этого меня считали странным ребенком, даже к врачу водили. Я мог орать, если меня днем тащили на улицу... Уже взрослый, я понял: страх тем-

ноты, он... Как бы это сказать... Иррациональный... Понимаешь меня?..

— Можно говорить умные слова, я пойму. — В голосе Вероники слышится обида.

— Прости. Давно ни с кем не разговаривал, кроме отца Глеба...

— А что, во мне так трудно разглядеть умного собеседника? — не унимается Вероника.

— Тебя сейчас вообще не разглядеть, — примиряюще говорю я.

— Ладно, проехали... Ну, так что там про темноту?

— Ну да... Иррациональный страх. Людям кажется, что через темноту в наш мир просачиваются призраки, чудовища, всякие там упыри. Но это — сказки, фантазии. С самого детства я был уверен, что упырей и чудовищ люди сами выдумали, чтобы пугать друг друга зачем-то. И у меня не было этого иррационального страха, я не чувствовал никаких других миров там, за темнотой. А вот про реальный мир я знал, что он страшен и опасен и в нем хватает людей, которые хуже любых упырей. Значит, надо от них прятаться, и лучшего места, чем темнота, не найти. А свет — предатель. При свете все видят... Видят, какой я слабый, неловкий, беззащитный. Ну и, само собой, каждый злодей сразу хочет сделать мне что-нибудь плохое... Беда в том, что все время в темноте не просидишь, приходится выходить на свет. Я завидовал животным, которые умеют прятаться, сливаться с камнями, с листьями...

Я торопливо говорю, а сам думаю: что-то со мной случилось. Наверное, это из-за виски, не пил ведь я тоже давным-давно. И сейчас я просто умру, если не расскажу о себе все — ей, этой незнакомой женщине, которой сейчас как будто и нет вовсе, и, может быть, она уже растворилась в темноте...

Но Вероника подает голос.

— Мимикрия, — с иронией говорит она. — Я вспомнила умное слово...

— Ну да, мимикрия... Она, знаешь ли, определила всю мою жизнь. Я выбирал самую неприметную одежду, говорил самые банальные слова, занимался самой незаметной работой, держался подальше от ярких людей, чтобы и меня рядом с ними, чего доброго, не заметили... Сделаться человеком-невидимкой — вот было бы счастье! Тогда я мог бы наблюдать за миром оттуда — из безопасной невидимости. И тогда, избавившись от страха, я, может быть, начал чувствовать любопытство к миру, к людям... Не доверие, а хотя бы любопытство... Вот я копаюсь в древностях, это мне интересно. А почему? Потому что безопасно. Меня оттуда никто не может достать, схватить, убить, пытаться. Они давно умерли, сделав друг другу все зло, на какое были способны... Ну а хуже всего, мне кажется, быть слепым. Тебя все видят, а ты — никого. Полная незащитность! Я бы, наверное, с ума сошел от страха, ждал, что в любую секунду, с любой стороны подкрадется кто-то с длинным шилом или с бритвой...

— Алгофобия, — раздается из темноты голос Вероники.

Я не верю ушам.

— Че-е-его?

— Это еще одно умное слово... Все, что ты говоришь, — фон для нервного расстройства, для алгофобии. Думаю, ты сильно боишься боли — своей и чужой... Я медицинский закончила, психиатрию. Только не работала психиатром ни дня.

— Но как же... Ведь я... — На мгновение у меня спутываются мысли.

— Э-э, — мягко говорит Вероника, — ты не на приеме, расслабься... Хочешь еще выпить? Где тут наш виски?.. Или наше?

Я беру бутылку, стоящую у моих ног, и протягиваю в темноту. Рука Вероники натывается на мой локоть, потом, скользя ниже, находит бутылку, и, мне кажется, ее ладонь проехала по моей руке медленнее, чем нужно, и это был добрый, успокаивающий жест. Я слышу, как пробка, пискнув, покидает бутылку, слышу, как Вероника пьет...

— Вот, держи...

Я нарочно протягиваю руку дальше и трогаю Веронику за плечо. Шерсть свитера мягкая, теплая изнутри... Но я не решаюсь повторить ее жест и просто беру бутылку. Отчего-то я чуть не плачу. Глотаю виски вместе с комом в горле...

— Слушай, — говорит Вероника, — я подумала, раз для тебя нет ни чудовищ, ни призраков, ни всех этих темных сил, значит, и светлых сил тоже как бы нет? Ангелов-хранителей, святых, которые тебя защищают?..

— Не знаю, — вздыхаю я. — Не знаю... Может быть, я просто боюсь приоткрыться и почувствовать те, другие миры. Мне вполне хватает и одного мира, чтобы бояться, вот я и убедил себя в том, что никаких других нет. Ведь если опасности этого мира еще как-то можно предусмотреть, то как защититься от того, чего не видишь, не слышишь, не знаешь? Это еще хуже, чем слепота... Вообще-то, я из верующей семьи. Молитвы выучил раньше детских стишков. Я и сейчас молюсь утром и вечером... Кому? Если честно, не знаю. Хочется верить, что кто-то нас защищает от чудовищ, которые притаились где-то в тумане, выкопали для нас ямы, расставили ловушки. Хочется думать, что кто-то отважный

и зрячий идет впереди, и разгоняет их, и ведет нас безопасным путем... Но, похоже, никакой защиты нет и все молитвы — не больше чем самоутешение... А вот беззащитность реальна, это я знаю хорошо... Мне было шесть лет. Я остался дома один — отец работал, мама отлучилась куда-то. Я прятался в своем любимом шкафу. Были сумерки, почти темно. Но я думал, что вот если придет кто-то чужой, и включит свет, и начнет искать меня, будет рыскать по комнате... Я умру от ужаса раньше, чем он откроет шкаф. И тогда я подумал: надо сделать так, чтобы никто не смог включить свет. Я знал, где у нас электричество — щиток, пробки, все такое. Когда гас свет, отец там чинил. Я вылез из шкафа, нашел отвертку в инструментах. Я хотел открыть провода. Подвинул в коридоре тумбочку, дотянулся с нее до щитка, начал ковырять, ткнул куда-то. Там что-то бахнуло, засверкало. Я упал на пол и увидел, что над щитком горит стена и огонь бежит вверх по обоям. Я пополз обратно в шкаф... Когда мать прибежала, через коридор уже нельзя было пройти. Мать полезла в окно. Дом у нас был маленький, но с высоким цоколем, над старым лабазом. И улица тихая, деревенская, окраина Коломны. Только бабки сбежались соседние, и помочь было некому... Мать нашла меня в шкафу, передала кому-то в окно. Но когда сама вылезала, на кухне взорвался баллон с газом. Кран от баллона полетел и пробил ей сердце. Будто кто-то прицелился...

Я умолкаю. Понимаю, что говорю торопливо, сбивчиво. Да и *кому* я это говорю? Я один в темноте. Или все-таки не один?

— Вероника...

— Да?

— Почему все так?

— Нипочему. Просто случилось. — Она говорит как будто равнодушно, но ее рука находит мою, легонько пожимает и сразу отпускает. — А твой отец?

— Отец... Пожарники нашли отвертку в проводах... Отец тряс меня за плечи... Я ему уже все рассказал, а он тряс и тряс, потом отшвырнул просто... Нас знакомые пустили в свою баню, мы там спали... Икона обгоревшая осталась — «Отрада и Утешение». Отец всю ночь молился — и шепотом, и в голос, почти кричал. Я боялся, если молитвы не помогут, он меня убьет...

Мы долго молчим. В полной темноте стен подземелья как будто нет, будто кругом — бесконечная пустота, и мы летим, летим куда-то...

— А твоему священнику ты рассказывал? — В тихом голосе Вероники слышится сочувствие.

— Отцу Глебу? Нет, никому не рассказывал. Да он и не мой священник, просто работу дает... Я вот даже не знаю — на исповеди мне надо в этом каяться? Грех это?... Конечно, грех. Но я не каялся никогда... Да и в чем каяться? В том, что не могу вернуться в тот день, в тот шкаф? Сидел бы там и боялся без всяких глупостей, и сейчас все было бы по-другому. Кто может вернуть меня туда? Бог? Наверное, может... Но он никогда так не делает.

Опять молчим. Потом — голос Вероники, еще тише:

— Он иногда делает... Бог... или не знаю кто... делает необычные вещи. Сегодня ты видел...

— Что видел? Я не понимаю...

— Тот мой приступ... На самом деле это была агония. Умирал Степа Егоров.

— Что? Какой Степа?

— Мальчик из двенадцатой палаты. Очень тяжело умирал. Я хотела помочь. И помогала. Но агония — это другое, это невыносимо... Слушай... Я могу брать их боль

себе. Как будто раскрываюсь, и боль переливается в меня. Иногда часть, иногда вся... Молчишь... Не веришь...

— Что?.. Я не знаю... Я, наверное, просто не понимаю, что ты говоришь... Как? Как это бывает? Расскажи!

— Рассказать... Это такие вещи, для которых и слов нет. Я говорю «раскрываюсь», «подключаюсь». Но это все не то... Свое тело по-другому ощущаю — как что-то бесформенное, мягкое, готовое принять чужую боль. Во мне как будто появляется место для нее... Нет, невозможно объяснить!

Слушаю Веронику, и со мной происходит что-то странное. Я не сомневаюсь, что она говорит правду. Но не могу поверить, что она говорит это *мне*! Кто я такой, чтобы знать *это*, чтобы прикасаться к *этому*!.. Почти помимо воли я тихо сползаю с ящика, на котором сидел, и встаю на колени. Если б не было темно, я бы так не сделал. Но Вероника не видит, и хорошо, а то могла бы подумать, что я — спьяну. А я совсем не спьяну... Хотя голова кружится, и в темноте все летит, и сердце лупит так, что она должна слышать...

— Вероника, значит, ты каждый день...

— Нет. — Ее голос звучит как издали. — Каждый день — не получается, каждый день — не выдержать... Я учусь. Этому можно учиться. Но боль — такая разная, никогда не знаешь, что будет. А вдруг умру? Труднее всего решиться. Я обманываю себя, говорю, что помогу немного и *отключусь*. Но потом — все жальче и жальче. И когда я возвращаю им боль, получается, что уже я их мучаю, понимаешь?.. Зато какое счастье, если я *отключаюсь*, а боль к ним не возвращается, и приступ проходит... И все равно каждый раз — отчаяние. Стою у океана боли с пипеткой. Ну да, с жалкой пипеткой, с чайной ложкой. Ну сколько я могу вы-

пить! Скольким детям могу облегчить страдания!.. Придумываю для них игры с болью — тоже от отчаяния, чтобы хоть так еще помогать. Составляю графики — с кем буду и когда. Сама же их ломаю, если вижу, что кому-то особенно плохо... Вот, смотри...

По глазам бьет невыносимый свет. Несколько секунд ничего не вижу, потом соображаю, что Вероника включила телефон. Там какой-то список — имена, цифры...

— Видишь — час двадцать, час сорок. Столько могу терпеть. Больше не получается, начинаю жалеть уже себя. И страх не дает. Кажется, *там* есть какая-то опасная черта, точка невозврата... Вот, смотри. Двадцать пять детей. *Моих* детей — которым я помогаю... Степа был самый тяжелый... Плохо так говорить, но... Я рада, что он ушел без боли... Не то чтобы рада... В общем, что смогла помочь... Когда ему осталось совсем чуть-чуть, приехали его родители. Мне пришлось убежать из палаты... Они, конечно, ничего не поняли, они видели, что Степа просто уснул. А я корчилась возле церкви, пока он не умер... Эй! Ты чего на коленях?! Молился, что ли?.. Да ты слышал, что я говорила?

— О Господи, слышал, конечно!..

Я сажусь на пол у ног Вероники, сжимаю лоб пальцами. Все плывет на медленной карусели. В груди — горький ком, который я так и не проглотил.

— Нашла кому рассказать, — говорю я. — Психопату, который до смерти боится боли...

— И что? Может быть, как раз ты лучше всех поймешь. — Вероника наклоняется ко мне, говорит почти на ухо. — Слушай, я сейчас подумала: весь мир болен алгофобией. Все боятся боли, все стараются защититься, кто как может. Кто-то молится день



и ночь, кто-то жрет лекарства тоннами, кто-то таскается повсюду с ротой охраны... Но всё — самообман. Защиты нет, ты прав. Ее нет в принципе. А главное, в чем ты прав: никто не умеет превращать жизнь в кошмар лучше, чем мы. Мы сами! А не какие-нибудь потусторонние гады...

Вероника опускает руку с телефоном, свет рассеивается.

— Сними очки, — говорит она.

— Что? Зачем?

— Пожалуйста. Я хочу увидеть твоё лицо без очков.

Снимаю очки. Вероника расплывается, превращается в голубую туманность.

— Я верю в свою способность читать по лицам. — В голосе Вероники слышна извиняющаяся нотка.

— Ну и как? — говорю я. — Ломброзо был бы мной доволен?

Вероника тихонько хмыкает:

— Не знаю, как Ломброзо, но у Минотавра бы точно аппетит пропал.

Я тоже хмыкаю и чувствую, как ком в груди растворяется.

Вероника резко меняет тон и говорит с горечью:

— Ну да, психолог, как же! Физиономистка! А Зорину поверила...

— А что Зорин? — осторожно спрашиваю я. — За что ты его сегодня?..

— Есть за что! — отрезает Вероника. — Потом расскажу, когда-нибудь... А ты, наверное, бог знает что мог подумать и твой священник тоже...

Я надеваю очки и долго смотрю на Веронику. Она не отводит глаз, но в них появляется недоумение. Она как будто удивлена, что я смог решиться на такой взгляд. Да я и сам удивлен не меньше.

— Как странно, — говорю я. — Мы уже откладываем что-то на потом. Значит, у нас может быть какое-нибудь «потом»?

— Не знаю, — медленно говорит Вероника. — Как пойдет...

На меня вдруг накатывает такая усталость, что впопыху лечь прямо на пол и спать. Смотрю на часы. Без четверти два.

— Можешь тут остаться, — говорит Вероника. — Если не боишься... Ах да, ты не боишься... Спи на моем матрасе. Я пойду покемарю в дежурку. А утром тебя выведу.

— Спасибо, — я пытаюсь улыбнуться, но сил хватает только на кислую гримасу.

Вероника поднимается с матраса, а я сразу сажусь на него, будто только этого и ждал. Ноги не держат совсем. Слишком много для одного дня, слишком много для одного разговора...

Вероника поворачивается, чтобы уйти. А мне вдруг становится обидно за себя, за то, что я такой... такой никакой. И хочется поблагодарить ее, сказать ей что-то на прощание.

— Вероника, — окликаю я ее.

— Что? — Она останавливается, но не оборачивается и как будто напряженно ждет чего-то.

— Побудь еще минуту.

— Зачем?

— Я тебе стихи читаю.

— Стихи? — В ее голосе появляется растерянность.

— Ну да, стихи, — говорю я. — Чего ты так напряглась? Теперь уже я не предлагаю ничего страшного. Просто стихи.

— Ну почитай...

Она так и не оборачивается, и мне ничего не остается, как читать ей в спину:

Умирал весенний день, и просил он Бога:  
Жизнь короткую мою Ты продли немного!  
Я работал, не ленился, для весны-хозяйки —  
Первоцветы рассыпал по полям-лужайкам,  
Плавил снег, и гнал ручьи, и будил деревья,  
Направлял к родным местам журавлей кочевья...  
Боже, смилуйся! Теперь ждет меня свиданье  
С Ночью — суженой моей — встреча и прощанье.  
В долгих сумерках позволь нам продлить объятия,  
Наготу ее не прячь Ты под звездным платьем...  
Знаю, так уж суждено, Боже милосердный, —  
Ложе брачное мое станет ложем смертным.  
Но угаснуть без тоски не смогу я, Боже, —  
Сердце любящее мне ревность жжет и гложет.  
Ведь едва начнет заря в небе заниматься,  
Ночь моя другому дню будет отдаваться...

Вероника долго молчит и все не оборачивается.  
В слабом свете телефона я вижу только ее размытый  
силуэт. Наконец она тихо говорит:

— И что это было?

Не могу понять — она сердится?

— Господи, да говорю же, ничего. Просто стихи.

— А чьи?

— Мои. Сегодня утром сочинил... Прости — конечно, сырые еще...

Она опять долго молчит, потом произносит:

— Поздно уже, — и идет к двери, так и не оглянувшись, унося голубой ореол телефонного света.

Я нахожу на полу пальто, чтобы укрыться им, и как сноп валюсь на матрас. Сил нет даже разуться.

Скрипит и бухает дверь, и я остаюсь один.

На грани гаснущего сознания мерцает мысль, что надо было помочь Веронике справиться с тяжелой

дверью... Потом всплывают уже совсем сонные мысли про какие-то ключи от какой-то важной двери и накапывает удивление, что они сейчас почему-то оказались у Вероники и что я вроде как избранный, допущенный в это чудесное место, в котором так темно и тихо и так похоже на блаженное предвечное небытие, где не было ни страха, ни боли...

Потом в темноте загораются свечи. Их ряды как огни взлетной полосы. Я стою в начале длинной прямой галереи. В слабом мерцании свечей можно разглядеть справа и слева ряды колонн, уходящих вдаль и вверх, в темноту — не то к невидимому потолку, не то к непроглядно-черному небу. Мимо меня идут люди — все в одном направлении, вперед по галерее. Одеты они странно: кто в тулупах, кто в футболках, а кто и вовсе в пижамах. Я вижу, что на мне — мое потрепанное пальто, наброшенное на плечи, а под ним — голубая медицинская роба. Меня это ничуть не смущает. Наоборот, я уверен, что одет как надо.

Люди, обгоняющие меня, спешат, почти бегут, и удивленно оглядываются — почему я стою?

«Метро, — думаю я. — Это толпа в метро».

Я не хочу бежать со всеми, но, едва делаю шаг, людской поток подхватывает меня, заражает торопливым движением, и вот я уже стараюсь не отстать от других. Теперь я понимаю: нас гонит вперед не обычная будничная спешка, а волнение и страх. Все хотят, чтобы что-то поскорее прояснилось, определилось, решилось...

Свечи мелькают справа и слева в просветах толпы. Маячат впереди чьи-то спины. От быстрой ходьбы и волнения сбивается дыхание, колотится сердце, но я успокаиваю себя, говорю себе: там, куда мы идем, я смогу вести себя правильно, не растеряюсь и не оплошаю.

Колонны галереи разбегаются в стороны, превращаются в колоннаду большого зала, заполненного

людьми. Мы спускаемся в него по широкой лестнице. Здесь намного светлее, видно, как людское море колыхается от края до края зала. Пришедшие вместе со мной беспокойно оглядываются, пытаются понять — где встать, что делать, чего ждать.

Я смотрю вверх и вижу белый купол, накрывающий зал. В его высшей точке — круглое отверстие, и оттуда, прорезая сумрак, падает столп света и упирается в белые плиты пола. Это световое пятно горит нестерпимо ярко. Люди сторонятся его, стараются уйти в тень, слиться с толпой. Мне жалок и неприятен их страх, и я понимаю, что тоже готов поддаться ему.

И вдруг я слышу голос — веселый, смелый, каким я старался говорить с Вероникой, — и понимаю, что это мой голос, мой новый голос, и я говорю себе:

— Ну вот что! В конце концов, это *мой* сон, и я могу делать что хочу!

И как только я произношу это, сразу становлюсь всемогущим, неуязвимым, бесстрашным. Какое это счастье! Какое освобождение! И как просто — всего лишь догадаться, что это *мой* сон!

Немедля я шагаю вперед и встаю прямо в луч кипящего света. Я больше не вижу и не слышу никого вокруг, но понимаю, что толпа затаилась и ждет. Потом угадываю в толпе новое движение. Ко мне идет человек в длинной рясе. Сначала мне кажется, что это отец Глеб, и меня на миг охватывает паника: что, если он потребует от меня исповеди, и все эти люди будут слушать!.. Но подошедший оказывается незнакомым мужчиной — молодым, розовощеким и белобрысым настолько, что его можно назвать альбиносом. Его короткие белые волосы, белые брови и белая поросль на щеках ярко вспыхивают, как только он оказывается вместе со мной в луче света. В зве-

нящей тишине альбинос смотрит на меня прозрачно-голубыми глазами.

Я спокойно жду. Я знаю, что он скажет.

— Надо просить прощения, — тихо говорит альбинос.

Это звучит не как приказ, скорее — как вежливая подсказка. И теперь мне нужно выбрать правильный тон, чтобы ответить. Мой голос не должен звучать ни надменно, ни дерзко, ни гордо. Но и робких, просительных нот в нем быть не должно. Пожалуй, лучше всего говорить так, будто я доверяю близкому человеку что-то важное, ценное.

Я знаю, что нас напряженно слушают сотни ушей, но мне нужно об этом забыть. Это *мое* дело и *мой* разговор.

— Я пришел сюда не для того, чтобы просить прощения. Я пришел, чтобы простить.

Ну вот, я сказал что хотел, и мой голос, кажется, прозвучал как надо. Но альбинос продолжает смотреть, будто ждет продолжения. И по мере того, как я молчу, его глаза становятся печальными.

— Ну что ж, — говорит он наконец. — Простить — это доброе намерение, это и вправду важно... Но есть одно затруднение. Ты сейчас сам все придумываешь и говоришь сам с собой. Ты боишься довериться. Так ничего не получится.

Он поднимает свою белую альбиносью руку и заклоняется от света. На его покато лбу я вижу капельки пота. Солнечный луч и правда обжигает жарок...

Мне становится не по себе. Облегчение сменяется тревогой. Как я ни старался, я все-таки, видимо, был дерзок... И все эти люди — что они обо мне подумают? Простят ли мое высокомерие?.. Но главное — альбинос прав. Я не смогу сам все придумать и сам все решить. Надо перестать тут командовать! Но мне так страшно выпустить этот сон — такой важный сон —

из-под контроля!.. Да и что теперь делать? Сказать: «Ну, ладно, простите меня, раз так. Научите, как быть»? Глупо, стыдно!.. Нет, я все испортил!

Но альбинос еще стоит передо мной, и его глаза полны сочувствия.

— Знаешь что, — говорит он, — попробуй не быть таким угрюмым.

Что? Угрюмым? Не быть угрюмым?.. Я едва сдерживаю стон разочарования. Вот так откровение! Да этот белобрысый просто ничего не знает обо мне, о моей жизни! Вообще не знает, что у нас творится!..

— А насчет прощения, — продолжает он так же негромко. — Ты пока не берись за такие трудные вещи. Начни с малого, а там уж... Как пойдет...

Глаза альбиноса под белыми ресницами улыбаются. Кажется, он вот-вот подмигнет мне. Но он отступает из солнечного круга, поворачивается и идет прочь.

Толпа приходит в движение. По ней проносится вздох облегчения — уф, все не так уж страшно!

Альбинос удаляется по людскому коридору, и, мне кажется, он уходит торопливо, словно боится, что я еще что-нибудь скажу или что-то еще произойдет и испортит сделанное.

4 АПРЕЛЯ. СУББОТА АКАФИСТА

## ИЕРОМОНАХ ГЛЕБ

Легкой жизни я просил у Бога,  
Легкой смерти надо бы просить...

Ну как же я забываю узнать, чьи это строки! Они часто приходят мне в голову. Вот и отец одной из наших девочек вчера вспомнил их, а потом сказал: «Как это же-

стоко!» А я по инерции подумал: «Почему жестоко? Как можно не понимать такие простые и мудрые вещи!...» Но сразу обожгло: *для кого* просить?! Если для себя, то конечно — это и мудро, и смиренно... Но *они* давно уже ничего для себя не просят. Все молитвы — о детях. И вот молить о смерти, когда она и так рядом — за дверью или уже у изголовья, только позови — хоть шепотом, хоть мысленно!.. Молиться о смерти своего ребенка как о великой милости!.. Что же это, Господи, пришло в наш мир! Что это, если не скорбь последних дней, которую Ты предрекал. И вот оно, средоточие этой скорби — мой хоспис на ощетинившемся черными елками холме, посреди нервного, издерганного города, который боязливо отодвинулся от него, отгородился суетой, гвалтом, пустыми дрязгами, мелкими проблемами, отгородился от чужого горя, не желая признавать его своим, *нашим* горем... Кажется, город готов окружить хоспис колючей проволокой, объявить запретной зоной...

В одном черном-черном лесу стоит черный-черный замок, по его черным-черным коридорам ходит черная-черная беда... Но, Господи, почему я лечу туда как на крыльях? Ведь мне и больно, и страшно, и это не притупляется и всегда ранит по-новому. Потому что не бывает двух одинаковых страданий, двух одинаковых ожиданий смерти. И нет одинаковых, готовых, безотказных утешающих слов. И, входя в палату, никогда не знаешь, с чем столкнешься и что от тебя потребуется сегодня...

Но тогда — почему? Почему каждый раз, когда я вынужден отлучиться отсюда, во мне включается хронометр: вот час прошел, полтора... Уж я стараюсь спланировать все дела, продумать все маршруты по городу, чтобы не терять ни минуты, избегаю всего, что может меня задержать, отмахиваюсь почти грубо от случайно встреченных знакомых, говорю телеграфным стилем... Вот



пару дней назад сокурсник по академии стал рассказывать о поездке в Святую землю, о том, как его в числе немногих допустили в крипты храма Гроба Господня, и там — уму непостижимо! — он держал в руках и прикладывался... Ох как он посмотрел, когда я не стал слушать, к чему он прикладывался! С каким выражением пробормотал: «Ну, Господь с тобой!..» Так, наверное, инквизитор мог отшатнуться от безнадежного еретика. Кажется, и руку поднял, чтобы откреститься от меня, как от одержимого, да я уже повернулся и побежал...

А может, и правда?.. Ну не одержимый, конечно... Блаженный?.. Нет, нельзя так о себе!.. Но как объяснить и кто поверит, что я не упиваюсь своей праведностью, не лезу в подвижники, не истязуюсь аскезой, не хочу казаться героем. Просто здесь и больше нигде — моя жизнь, мой дом, моя Святая земля... И все-таки — почему? Почему каждый день ни свет ни заря меня будто тормошит кто-то: скорей, скорей — в черные коридоры, в сырой сквознячный храм, скорей — к этим заплаканным глазам, и дрожащим губам, и горьким словам, потоки которых я силюсь остановить, как кровь из вскрытых вен!..

Вчера поймал себя на том, что к диссертации по апологетике не возвращался уже год. А в последнее время даже утреннее правило сократил до неприличия. А уж вечернее... Какое там правило! Валюсь на кровать, едва успев сказать «Господи, помилуй!...». Это удача, что я снял квартиру в пяти минутах ходьбы от хосписа, а то уж думал спать в ризнице... И самое главное, самое невероятное — мне не нужно мучительно подбирать слова утешения. Это тепло — утешающее тепло — оно наполняет меня извне, и остается лишь направить его на других. Во мне самом его не может быть столько!.. А уходя из хосписа, я как будто теряю этот теплый источник

и просто не могу жить в том холоде и равнодушии, которыми город заслоняется от нашего Елового холма.

Любой сочтет меня безумным, если попробую объяснить, что сюда, в этот черный замок, счастье заглядывает чаще, чем в богатые и благополучные дома...

«Отец Глеб! Какое счастье! Сегодня Сонечка съела всю кашу! И с таким аппетитом!..» И — слезы на глазах, настоящие слезы радости!.. Она сумасшедшая, эта мамаша? Она забыла, что никто не выживает?.. Ну а мы все? Разве мы неумолимо и безжалостно не движемся к смерти? Кому сколько осталось — сорок лет или сорок секунд? Никто не знает и, к счастью, не может знать... Пусть через полчаса Соне станет плохо, но есть еще целых полчаса радости и надежды! И, выходит, это мы — сумасшедшие, мы — ненормальные, потому что не используем каждую минуту для радости, не умеем, как Сониная мама, высекать искру счастья из всего, раздуть и беречь ее от наползающей тьмы!

...Соня умерла вчера ночью. Господь не дал ей легкой смерти.

Утром Сониная мама шла по коридору, скользя плечом по стене и держа в ладонях плошку, до краев полную молочной рисовой каши. Зачем-то она несла эту кашу в столовую. Может быть, с каким-то женским, хозяйским автоматизмом хотела вернуть ее на кухню, чтобы каша не пропала... Меня она не видела. Никого не видела. И все было так, будто никогда уже к ней не вернется способность радоваться... Но... Таков уж мой дом, и другого мне не дано, и не стану я искать другой.

Дождь... Второй день то моросит, то льет без просвета. С елок сползает последний снег. На дорожке, ведущей к хоспису, — тонкий слой текущей воды. В нем дробятся и морщатся желтые блики фонарей... Почему

я опять не взял зонт? Какая глупость — я стесняюсь с ним ходить. Почему-то кажется, что батюшка под зонтиком — это комично. А промокший батюшка — не комично?.. Полшестого утра! Кто меня вообще видел, пока я шел от дома до хосписа? Все ранние пешеходы потянулись налево, к метро, я один потопал сюда, направо... Точнее — пошлепал... Эх, носили ведь раньше галоши — как удобно! Где их теперь найти? Почему не делают? Поп в галошах — то что надо!.. И ботинки по-настоящему непромокаемые не купишь. Хлюпает в ботинках немилосердно!.. Ох, хляби горные, пути дольные...

Над головой — будто свод угольной штольни, и тучи угловато торчат из него, как пласты черной породы... Отец, горный инженер, брал меня на шахту... Хотя надо, конечно, говорить «в шахту», но у нас было только так — «на шахту». Отец хотел увлечь меня героикой шахтерского труда, оттащить от «глупых книжек про святых». Помню, отцу даже крепко влетело, когда кто-то из начальства увидел меня в забое... Мне нравилось на шахте. Нравился адский грохот и жуткая сила проходческого комбайна, дробящего пласты. Нравилось ощущение надежной каски на голове и послушный луч фонаря, рассекающий пыль и пар перед лицом. Нравились одобрительные тычки, которыми награждали меня забойщики. Нравилось, что на шахте все звали отца Михалычем, — даже те, кто был намного старше его. А больше всего нравилась гордость отца за свою работу: смотри, сын, как могуч человек, научившийся брать из-под земли тепло и свет для своих городов!.. А для меня не было лучшего доказательства бытия Божия — вот как Он изобретателен, вот сколько всего придумал для выживания человека — даже этот удивительный горючий черный камень!.. Видел бы

отец меня, спешащего сейчас «на приход», как он спешил каждое утро «на шахту»... Господи, спасибо за то, что даровал мне хороших родителей!.. Или — меня им?.. Спасибо за то, что помог отцу в конце концов понять, поверить, что этот выбор был сделан не мной, но совершен *обо мне* и что, если бы я противился ему, стал бы самым несчастным человеком и, наверное, вообще погиб...

И вот... Теперь я должен все перечеркнуть и спуститься в такую шахту, в такую бездну, из которой, наверное, и выхода мне не будет...

Данте, которым я зачитывался когда-то, описал самый глубокий круг ада, уготованный для предателей. И в самой последней яме этого круга — место для грешников, предавших своих учителей. Иуда Искарот, например, — там... Вот и я туда, похоже, мечу, потому что собираюсь предать того, кто был мне ближе и дороже всех — своего учителя. Конечно, он теперь — совсем другой. Путь от провинциального игумена до Святейшего Владыки измотал и опустошил его настолько, что даже внешне он стал едва узнаваем. И радость, которой он весь лучился когда-то, сохлась до вымученной официальной улыбки. Да и я, само собой, не тот восторженный мальчишка-келейник, которого он ввел в Храм, которого спасал и ограждал с великой деликатностью от неофитских заблуждений и которого, чего греха таить, протащил вверх по служебной лестнице, перескакивая через целые пролеты... Он был для меня настоящим духовником. В монастыре на берегу Тобола, где он приютил меня и стал готовить к постригу, мы говорили часами. Каждый день я спешил к нему в радости или в терзаниях, и всегда у него находилось для меня слово — единственно верное, единственно нужное... Почему